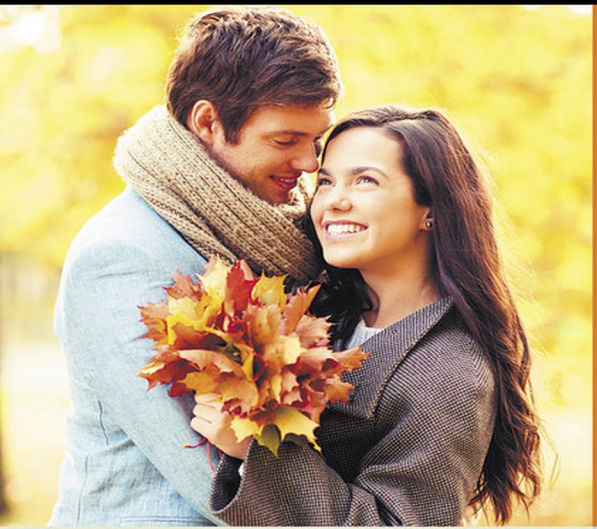
minibook



ФРАНСУАЗА САГАН

# ШЕЛКОВЫЕ ГЛАЗА



Жизнь полна парадоксов... В ней встречаются богатые женщины, считающие себя старухами, потому что устали от жизни в 50 лет, одинокие ловеласы и любвеобильные однолюбы. Они мечутся между Парижем и Лос-Анджелесом, Мюнхеном и Гонолулу и все время начеку.



«Серна была теперь всего в двадцати метрах, смотрела на него. Все такая же красивая, только чуть взмокшая от пота, и ее глаза, ее шелковые, сине-желтые глаза были совершенно неподвижны».

# Шелковые глаза (сборник)
# Франсуаза Саган

Аннотация
Франсуаза Сага. Шелковые глаза (сборник)
Шелковые глаза
Жиголо
Лежащий человек
Незнакомка
Пять «отвлечений»
Дерево-джентльмен
Вечер
Дива
Снобистская смерть
Рыбалка
Смерть в сандалиях
Левое веко
Собачья ночь
Разрыв по-римски
Ближайшее кафе
Семичасовой укол
Небо Италии
Солнце тоже уходит спать
Пруд одиночества

## Аннотация

Жизнь полна парадоксов…

В ней встречаются богатые женщины, считающие себя старухами, потому что устали от жизни в 50 лет, одинокие ловеласы и любвеобильные однолюбы. Они мечутся между Парижем и Лос-Анджелесом, Мюнхеном и Гонолулу и все время начеку.

В этой жизни и надо быть начеку: кто угодно может оказаться обманутым и должен быть к этому готов…

Сборник новелл, написанных в лучших традициях французской галантной прозы.

# Франсуаза Сага
# Шелковые глаза (сборник)

*Посвящается J. H.*

© Editions Stock, 2009. The first edition of this work was published in 1976 by Editions Flammarion.

Francoise Sagan, Des yeux de soie

# Шелковые глаза

Жером Бертье вел машину слишком быстро, и его жене, красавице Монике, потребовалась вся ее беззаботность, чтобы не обращать внимания на это лихачество. Ведь они уезжали охотиться на серну в выходные, что было для него настоящим праздником, поскольку он любил охоту, и свою жену, и вылазки на природу, и даже друзей, за которыми им предстояло заехать: Станисласа Брема с его очередной подружкой (после развода Станислас менял их практически каждые две недели).

— Надеюсь, они будут готовы вовремя, — сказал Жером. — Как думаешь, что за девицу он нам подсунет в этот раз?

— Откуда мне, по-твоему, знать? — устало улыбнулась Моника. — Надеюсь, будет хотя бы спортивной. Ведь охота трудная, верно?

— Очень трудная, — кивнул он. — Я все думаю, что на него нашло, на Станисласа. Корчить из себя бабника, в его-то возрасте… В общем, в нашем возрасте. Если еще не готов, упустим самолет…

— Ты никогда ничего не упускаешь, — засме-

ялась она.

Жером Бертье искоса бросил взгляд на жену, в который раз спросив себя, что она хотела этим сказать. Он был человек мужественный, верный и спокойный. Знал, что достаточно привлекателен, но на протяжении тринадцати лет, что они были женаты, обеспечивал своей жене — единственной женщине, которую когда-либо любил, — самую приятную и надежную жизнь. Хотя порой задавался вопросом, что таится за этой безмятежностью, за темными спокойными глазами его красивой супруги.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил он.

— Я хочу сказать, что ты ничего не упускаешь: ни свои дела, ни свою жизнь, ни свои самолеты. Думаю даже, что ты и эту серну не упустишь.

— Очень надеюсь, — подхватил он. — Я на охоту не для того езжу, чтобы в воздух стрелять, а это животное, уж ты мне поверь, самая трудная добыча.

Они подъехали к дому на бульваре Распай, и Жером просигналил три раза, пока в раскрывшемся окне не появился Станислас и не помахал рукой в знак приветствия. Жером высунулся наружу и крикнул:

— Спускайся, старина. Самолет упустим.

Окно закрылось, и через две минуты Станислас Брем вышел из подъезда со своей подружкой.

Он был настолько же долговяз, гибок и беспокоен, насколько Жером надежен, крепок и решителен. Его молодая спутница оказалась очаровательной, чувственной с виду блондинкой, из тех, что называют «женщина на уик-энд». Они влезли в машину через заднюю дверцу, и Станислас представил свою подружку:

— Моника, дорогая, познакомься: это Бетти. Бетти, это Моника и ее муж, знаменитый архитектор Бертье. С этой минуты ты под его началом, это он ведет корабль.

Все рассеянно засмеялись, и Моника любезно пожала руку этой Бетти. Машина направилась к аэропорту Руасси. Станислас наклонился вперед и спросил довольно пронзительным голосом:

— Вы-то оба довольны, что едете?

Не дожидаясь ответа, повернулся к своей спутнице и улыбнулся ей. Он был необычайно обаятелен, этакий весельчак — немного дегенерат, немного плейбой, немного хищник. И Бетти как зачарованная улыбнулась ему в ответ.

— Представь себе, — продолжил он громко, — я знаю этого человека двадцать лет. Вместе в школе учились. Жером всегда ходил в первых учениках

и кулаком мог врезать лучше всех, когда дрались на переменке, и часто меня защищал, потому что я уже тогда был невыносим. — И, кивнув на Монику, добавил: — А ее знаю тринадцать лет. Это счастливая пара, дорогуша, смотри хорошенько.

Ни Жером, ни Моника, казалось, не слушали его. Лишь легкая, почти сообщническая улыбка скользнула по их губам.

— Это они меня утешили после моего развода, — продолжал Станислас, — потому что я тогда был в великой печали.

Машина теперь ехала очень быстро по северной автостраде, и юной Бетти пришлось практически прокричать свой вопрос:

— Почему в печали? Жена тебя разлюбила?

— Нет! — крикнул Станислас в ответ. — Это я ее разлюбил, и, поверь, для джентльмена это ужасно.

Он расхохотался и откинулся на спинку сиденья.

Потом был Руасси, ад Руасси, и они восхищались расторопностью Жерома, который предъявлял билеты, регистрировал багаж, занимался всем. Трое остальных лишь смотрели на него: обе женщины были естественно привычны к тому, что ими занимается мужчина, а Станислас словно

считал делом чести ни во что не вмешиваться. Потом были переходы, эти движущиеся дорожки, где они ехали гуськом под целлофаном, по двое, неподвижные и будто замороженные, этакие полуфабрикаты благополучных пар нашего времени. Потом был самолет, салон первого класса, где они опять сидели по двое, друг за другом, и Моника смотрела в иллюминатор на проплывающие облака, даже не заглянув в журнал, который ей дали. Жером зачем-то поднялся с места, и вдруг рядом с ней возникло лицо Станисласа, который, видимо, на что-то указывал ей рукой в иллюминатор, но при этом говорил совсем другое:

— Я тебя хочу, ты же знаешь, выкрутись как угодно, но я хочу тебя в эти выходные.

Она похлопала ресницами, однако не ответила.

— Скажи мне, что тоже хочешь, — продолжил он с улыбкой.

Она обернулась к нему, посмотрела серьезно, но, прежде чем успела открыть рот, по громкой связи объявили: «Мы начинаем снижаться над Мюнхеном. Пожалуйста, займите ваши места, пристегните ремни и прекратите курить». Они посмотрели друг на друга мгновение, то ли как враги, то ли как любовники, он улыбнулся, в этот

раз по-настоящему, и откинулся назад, на свое место. Жером вернулся и сел подле нее.

Лило как из ведра. Они отправились в охотничье шале во взятой напрокат машине. Разумеется, за рулем был Жером. Прежде чем сесть в машину, Моника сделала очаровательный жест, спросила эту самую Бетти, не укачивает ли ее сзади. Бетти, явно жаждавшая респектабельности и знаков внимания, кивнула и, таким образом, оказалась на переднем сиденье, рядом с Жеромом.

Жером был в отличном настроении. Лил дождь, навстречу летели опавшие листья, начинался туман, и ему пришлось сосредоточиться на дороге, включенные фары, работа дворников, гул мотора отгородили его от остальных своего рода стеной, не такой уж неприятной. Как обычно, он чувствовал себя ответственным, пилотом маленькой космической капсулы, доставлявшей их к охотничьему домику. Он рулил, газовал, притормаживал, направляя по назначению четыре жизни, в том числе свою собственную, привычно и с ощущением полной безопасности. Виражи были очень круты, и уже настала черная ночь. Дорогу обступали лиственницы и пихты, теснили горные потоки. Жером вдыхал через окно все классические запахи осени. Ни Станислас, ни

Моника больше не разговаривали, из-за виражей, конечно. Жером на мгновение обернулся к ним:

— Не спите? Бетти чуть не храпит.

— Да нет, не спим, — засмеялся Станислас, — смотрим. Смотрим в темноту.

— Хотите немного музыки?

Он включил радио, и тотчас же машину наполнил необычайный голос Монтсеррат Кабалье. Она пела главную арию Тоски, и, к своему великому удивлению, Жером почувствовал, как ему на глаза навернулись слезы. Он даже машинально включил дворники, прежде чем сообразил, что вовсе не осень затуманила ему вид сквозь лобовое стекло. Подумал вдруг: «Люблю эту погоду, эту страну, эту дорогу, эту машину и особенно люблю темноволосую женщину позади меня, мою жену, которая с таким же наслаждением, как и я, слушает этот голос, голос другой женщины, которая поет».

Жером редко изливал свои чувства, мало говорил, с другими еще меньше, чем с самим собой. Люди утверждали, что он человек простой, почти грубый, но сейчас ему вдруг захотелось остановить машину, выйти, открыть заднюю дверцу и заключить свою жену в объятия, несмотря на всю нелепость этого жеста, и сказать ей, что любит

ее. Голос певицы поднимался все выше, оркестр неотступно следовал за ним как зачарованный, и Жером машинально, почти растерянно — вот уж слово, которое ему ничуть не подходило, — повернул зеркальце заднего вида и бросил взгляд на свою жену. Он думал увидеть ее такой, какой часто видел на концертах: неподвижно застывшей с расширенными глазами, но нечаянно дернул зеркальце книзу, и в поле его зрения оказалась длинная и худая рука Станисласа, тискавшая ладонь Моники. Он тотчас же поднял зеркало, и музыка превратилась в череду невнятных, бессвязных, отвратительных звуков, в вопли какой-то буйнопомешанной. На мгновение он перестал ясно различать дорогу, пихты, приближающиеся повороты. Но вдруг в нем очнулся человек действия, человек ответственный: он выровнял руль, чуть сбросил скорость и столь же спокойно решил, что хочет, чтобы этот сидящий сзади мужчина, этот белокурый и голубоглазый мужчина, затаившийся в темноте с его женой… Короче, он хочет, чтобы этот мужчина умер завтра от его руки. Видимо, тот заметил, как вильнула машина, и рядом с Жеромом немедленно появилось лицо его друга детства — отныне презренное и ненавистное.

— Эй, ты что, заснул?

— Нет, — ответил Жером, — заслушался «Тоску».

— «Тоска», — подхватил весело Станислас, — и что за место?

— Скарпиа как раз решает убить Марио из ревности.

— Он совершенно прав, — сказал Станислас со смехом, — только это ему и остается.

Он откинулся обратно рядом с Моникой, и Жером сразу же почувствовал огромное облегчение. Хор буйнопомешанных в радио поутих, и он улыбнулся.

В самом деле, только это ему и остается.

Охотничье шале было большим, сложенным из березовых бревен домом. Камины, балки на потолке, звериные шкуры на полу и наиболее красивые головы жертв на стенах. В самом деле прекрасное место! Оно вдруг показалось Жерому уродливым и нелепым. Он разбудил Бетти, достал багаж, разжег два камина и попросил сторожа приготовить им какую-нибудь еду. Поужинали очень весело, слушая — прихоть Станисласа — американские песенки на жутком проигрывателе. Теперь Жером с Моникой были в своей комнате. Она раздевалась в ванной, а он докан-

чивал бутылку «Вильгельмины», сидя на полу возле кровати.

Ощущал в себе что-то неподвижное, мучительное и совершенно непоправимое. Он знал, что не сможет спросить у нее: «Это правда? Кто? Сколько времени? Почему? Как это закончится?» В сущности, он уже давно не говорил со своей женой. Возил ее повсюду, кормил, занимался с ней любовью, но уже не говорил. И ему смутно казалось, что эти вопросы, при всей своей оправданности, были бы всего лишь знаком неуместной, вышедшей из моды, почти вульгарной нескромности.

Он пил усердно, без особой цели, но и без отчаяния. Пил, чтобы успокоиться. Снотворное, амфетамины были не для него, не такой он человек. Но что же тогда для него? Что он за человек? «Да никакой, просто человек», — подумал он с горечью, со своего рода насмешкой и презрением по отношению к себе.

Моника вернулась в комнату. Все такие же очень черные волосы, высокие скулы, все такие же спокойные глаза. Мимоходом положила ему руку на голову, тем привычным жестом, который был одновременно знаком подчинения и власти, и он не сделал даже попытки увернуться.

— У тебя усталый вид, — заметила она. — Луч-

ше бы тебе сразу лечь. Вам завтра рано на охоту.

И в самом деле, это было странно, если подумать. Сама она никогда не охотилась, никогда не хотела идти с ними. Утверждала, что выстрелы ее пугают, а от рвущихся по следу собак ей не по себе, короче, она не любит охотиться. Он никогда не задавался вопросом: почему на самом деле Моника не хочет идти с ними? Ведь она не боялась ни усталости, ни ходьбы, да и никогда ничего не боялась.

— Странно, — начал он, и собственный голос показался ему вдруг тягучим, — странно, что ты не охотишься.

— После десяти лет тебя это удивляет? — засмеялась она.

— Никогда не бывает слишком поздно, — возразил он глупо и, к собственному удивлению, вдруг начал краснеть.

— Вот именно, — зевнула она и легла, — вот именно, слишком поздно. Видишь ли, я очень люблю диких зверей и нахожу, что они гораздо более приемлемы, чем другие.

— Приемлемы? — переспросил он.

Она улыбнулась и погасила лампу со своей стороны.

— О! Это ничего не значит. Почему ты не ло-

жишься?

Он согласился, снял свитер, разулся и внезапно упал поперек кровати.

— Что за лентяй! — проворчала она и, перегнувшись через него, погасила прикроватную лампу.

Он слушал, слышал тишину. Она дышала спокойно, засыпала.

— Ты не находишь, — спросил он, и собственный голос показался ему неуверенным и встревоженным, как у ребенка, — не находишь, что Кабалье и в самом деле хорошо поет эту арию Тоски?

— Ну да, — согласилась она, — чудо как хорошо. А почему ты спрашиваешь?

Повисло недолгое молчание, потом она рассмеялась своим обычным смехом, чуть низким, легким, непринужденным.

— Опера делает тебя романтичным, а может, это осень, а может, и то и другое.

Он наклонился и нашарил на полу бутылку «Вильгельмины». Алкоголь был холодным и теплым и без всякого запаха. «Я мог бы повернуться к ней, — подумал он, — обнять, заставить ее сделать все, что захочу». И кто-то в нем, кто-то незрелый, слабый и изголодавшийся протянул к ней руку. Он совершенно естественным движе-

нием коснулся ее плеча, она шевельнула головой и подставила под его руку свои губы.

— Спи, — сказала она. — Уже поздно. Я без сил, а ты будешь без сил завтра утром. Спи, Жером.

Тогда он убрал руку, повернулся на другой бок, и встревоженный ребенок исчез, уступив место сорокалетнему мужчине, заледеневшему и накачанному «Вильгельминой». Мужчине, который методично, тщательно обдумывал в темноте, как ему посредством оптического прицела, мушки, спускового крючка, выстрела, железа и грохота устранить из жизни, а главное, из жизни этой лежащей рядом с ним чужой женщины белокурого и зловредного чужака по имени Станислас.

Было десять утра. Погода стояла хорошая, ужасно хорошая. Они уже три часа прочесывали лес. Егерь заметил великолепную серну, и Жером уже дважды поймал ее в окуляры своего бинокля, но теперь отнюдь не она была его добычей. У его добычи были светлые волосы, костюм из замши и рыжеватой кожи, его добычу было до странности трудно убить. Он уже упустил ее два раза. Первый раз она бросилась в подлесок, решив, что увидела серну. Второй раз между маленькой, черной, мерцающей мушкой ружья и его целью встряла белокурая голова Бетти. Но теперь его

цель была прямо перед ним. Станислас Брем стоял посреди поляны. Поставив приклад ружья меж ступней и опершись на одну ногу, он смотрел в голубое небо, на рыжие деревья с каким-то нестерпимым счастьем, и палец Жерома начал потихоньку нажимать на спуск. Сейчас этот профиль взорвется, эти белокурые, слишком тонкие и дегенеративные волосы никогда больше не лягут под руку Моники, а эту кожу извращенного ребенка продырявят полсотни крупных дробин. И вдруг Станислас неожиданным жестом, жестом одиночки поднял руки к небу, уронив ружье на землю, и потянулся, всей своей позой выражая счастье, ужасную, отвратительную свободу от всего.

Словно получив пощечину, Жером выстрелил. Станислас вздрогнул, огляделся, явно больше озадаченный, чем напуганный. Жером опустил руку и заметил без всякой гордости, что она не дрожит, а также с яростью — что забыл сменить прицел. Он стрелял с двухсот метров с классическим прицелом на пернатую дичь, то есть на пятьдесят метров. Сделав поправку, он снова вскинул ружье, но тут раздался голос егеря, скорее помешав ему, нежели испугав.

— Увидели что-нибудь, господин Бертье?

— Вроде бы куропатку, — ответил Жером, обернувшись.

— Не надо стрелять, — сказал егерь. — Если хотите добыть серну, нельзя шуметь. Я знаю, куда она побежала, знаю, где ее можно загнать в ловушку, не надо ее пугать.

— Прошу прощения, — пробормотал Жером глупо. — Больше ни в кого стрелять не буду.

Он переломил ружье и последовал за стариком.

Любопытно, это и выводило его из себя, и забавляло. Он прекрасно знал, что убьет Станисласа до конца дня, но в конечном счете находил приятным браться за это несколько раз.

Через два часа он заплутал. Впрочем, они все заплутали: серна оказалась слишком хитрой, охотничьи угодья слишком большими, а загонщиков было слишком мало. Но он-то преследовал совсем другую дичь, нежели остальные, и потому, оставшись в конце концов совершенно один, самым глупым образом наткнулся на серну. Хотя она, разумеется, была далеко, слишком далеко от него. Стояла на скале, против солнца, совершенно неподвижно. Жером инстинктивно схватил бинокль. Теперь он дрожал, он устал, выдохся, старел, ему было сорок лет, и он любил свою

жену, которая его разлюбила. От этой мысли он на мгновение почти ослеп, но потом приложил бинокль к глазам и увидел серну очень близко, словно мог ее коснуться. Она была бежевая и молодая, у нее были встревоженные, но гордые глаза, она смотрела то в долину, откуда шли враги, то в горы, и словно забавлялась уготованным ей умерщвлением. Было в ней что-то пугливое, хрупкое и неуязвимое. Казалось, она была здесь, чтобы показать всю прелесть невинности, ловкости и бегства. Она была красива. Красивее, чем любое из животных, на которых Жером когда-либо охотился.

— Позже, — сказал себе Жером, — того типа я убью позже. (Ему уже не удавалось даже вспомнить его имя.) — Но сейчас, мой милый друг, я хочу тебя.

И он начал карабкаться по ужасно крутой тропинке, которая вела его к ней.

Охота внизу блуждала. Собаки слышались то слева, то справа, свистки становились все более далекими, и у Жерома возникло впечатление, что он покидает докучливый и гнусный мир, чтобы вернуться к себе.

Несмотря на солнце, было очень холодно. Когда он снова взялся за бинокль, серна все еще была

там. Ему даже показалось, что она смотрит на него. Потом мелкими шажками углубилась в высокий лес. Жером добрался до этого леса через полчаса. Прошел по следам до ущелья, и там серна снова ждала его. В этой охоте были только они вдвоем. Сердце Жерома ужасно колотилось, его чуть не вырвало. Он присел на землю, потом снова двинулся дальше. Остановился, чтобы съесть что-нибудь, хлеба с ветчиной из своего ягдташа, и серна его подождала, по крайней мере так ему показалось. Потом, в четыре часа пополудни, он перешел границу охотничьих угодий и практически границу своих сил, а серна по-прежнему была впереди, ускользающая и нежная, но по-прежнему различимая во всей своей красе сквозь призмы бинокля. Она все еще была здесь. Разумеется, недостижимая для выстрела и неуловимая.

Жером так устал за восемь часов, преследуя это странное животное или просто следуя за ним — он уже и сам точно не знал, — что в конце концов заговорил вслух. Он окрестил серну Моникой и, с трудом волоча ноги, спотыкаясь, ругаясь последними словами, заклинал ее порой: «Черт тебя подери, Моника, не беги так быстро!» В какой-то момент он заколебался было перед какой-то топью, но потом спокойно пошел через

нее, подняв ружье над головой, по пояс в воде, хотя знал, что в такую пору это опасно и глупо для охотника. А почувствовав, что скользит по дну, сначала не сопротивлялся, безвольно упал на спину. Вода подступила к самому горлу, заливалась в рот, в нос, он почти захлебывался. Его обуяло какое-то дивное наслаждение, упоение полной свободой, очень далекое от его природы. «Я кончаю с собой», — подумал он, но в нем снова проснулся спокойный мужчина, вернул ему равновесие и вытащил его, промокшего, ошалевшего, дрожащего от холода из этой окаянной трясины. Это ему что-то напомнило, но что? Он начал говорить вслух:

«Когда пела Кабалье, мне показалось, что я тону, вот-вот утону. Это как в тот раз, помнишь, в тот первый раз, когда я тебе сказал, что люблю тебя. Мы были у тебя дома, и ты подошла ко мне, помнишь, мы тогда в первый раз занимались любовью. Я так боялся лечь с тобой и так этого хотел, что мне показалось, будто я вот-вот покончу с собой».

Он достал фляжку со спиртным из своего ягдташа, набитого теперь промокшими, бесполезными патронами, и отхлебнул глоток. Потом снова взял бинокль, и чуть дальше по-прежнему была

серна — Моника — любовь (он уже не знал, как ее зовут), которая ждала его. Слава богу, у него еще оставалось два целых, вполне сухих заряда в стволах ружья.

Около пяти часов солнце стояло уже низко, как, впрочем, бывает в Баварии осенью. Жером стучал зубами, углубляясь в последнее ущелье. Он упал от усталости и вытянулся на солнце. Подошла Моника, села подле него, и он продолжил говорить с ней:

«А помнишь, как мы однажды повздорили и ты хотела от меня уйти? Думаю, дней за десять до того, как мы поженились, это было у твоих родителей, я тогда лег на траву, а погода стояла очень плохая, и мне было тоскливо. Я закрыл глаза, помню теперь очень хорошо, и вдруг почувствовал тепло солнца на веках, это в самом деле была удача, потому что до этого погода была очень плохая, и когда я открыл глаза из-за солнца, ты наконец уже сидела рядом со мной, опустившись на колени. Смотрела на меня и улыбалась».

«Ну да, — сказала она, — очень хорошо помню. Ты вел себя так гадко, я и в самом деле страшно разозлилась. Потом искала тебя, а когда увидела, как ты лежишь на лужайке и дуешься, меня смех разобрал и захотелось поцеловать тебя».

Тут она исчезла, и Жером, протерев глаза, встал. Небольшое ущелье упиралось в скалу, необычайно крутую, почти вертикальную стену, перед которой неподвижно стояла серна. Жером загнал наконец свою добычу. И она ему не даром досталась. Никогда в своей жизни он не гонялся почти десять часов за какой-то дичью. Он в изнеможении остановился у входа в ущелье и защелкнул ружье. Приподнял немного правую руку и подождал. Серна была теперь всего в двадцати метрах, смотрела на него. Все такая же красивая, только чуть взмокшая от пота, и ее глаза, ее шелковые, сине-желтые глаза — поди рассмотри на этом солнце — были совершенно неподвижны.

Жером прицелился, упершись прикладом в плечо, и тут серна сделала нечто совершенно глупое и неуклюжее: повернувшись, попыталась наверняка раз в десятый взобраться вверх по обрыву, и наверняка раз в десятый соскользнула самым нелепым образом, несмотря на всю свою грацию, и опять оказалась — неподвижная, дрожащая, но по-прежнему непримиримая — перед ружьем Жерома.

Жером так и не понял почему, как, когда решил не убивать серну. Быть может, из-за этого отчаянного и неловкого усилия, быть может, просто

из-за красоты, быть может, из-за этой гордости и спокойного животного начала в ее раскосых глазах. Впрочем, Жером и не пытался понять почему.

Он развернулся и ушел тем же незнакомым путем, ушел к охотничьему лагерю. Когда он явился, все уже потеряли голову, искали его повсюду, и молодой егерь тоже, хотя он-то знал, Жером это чувствовал. Тем не менее, когда они все вместе спросили его, где была серна и где он ее оставил — потому что он ведь добрался до двери без всякой ноши, практически вслепую, весь в ушибах, больной от усталости и тут же рухнул, — Жером не знал, что ответить.

Станислас дал ему коньяку, а жена, сидя рядом с ним на кровати, держала его руку. Она была бледна. Он спросил ее почему, и она ответила, что испугалась за него. К своему собственному удивлению, он сразу же ей поверил.

— Испугалась, что я погибну? — спросил он. — Упаду со скалы?

Она кивнула, не отвечая, потом вдруг наклонилась и положила голову ему на плечо. Впервые в жизни она проявила на людях свои чувства к нему. Станислас, несший вторую стопку коньяку, вдруг застыл как громом пораженный, увидев

на плече этого разбитого усталостью мужчины черные волосы этой женщины, тихо рыдавшей от облегчения, и внезапно швырнул коньяк в камин.

— Слушай, — сказал он, и его голос стал визгливым, — так что там с серной? Неужели ты, железный человек, даже не смог дотащить добычу на спине?

И тогда Жером Бертье, к своему великому удивлению, услышал, как отвечает перед пылающим огнем, в присутствии ошарашенной Бетти:

— Не в этом дело. Я не осмелился выстрелить.

Моника на мгновение вскинула голову, и они посмотрели друг на друга. Она медленно подняла руку и обвела пальцами его лицо.

— Знаешь, — произнесла она (в этот миг они были одни в мире), — знаешь, даже если бы ты убил…

И остальные практически исчезли, а она привлекла его к себе, и огонь в камине сделался необыкновенно огромным.

# Жиголо

Он шагал рядом с ней по мокрым, засыпанным опавшей листвой тропинкам, иногда протягивая руку, чтобы помочь ей обойти лужу. При этом улыбался открытой улыбкой. Она думала, что для любого молодого человека эта прогулка по Медонскому лесу была бы сущей каторгой, особенно с женщиной ее возраста. Не старой, но усталой, которая прогуливалась, потому что предпочитала это занятие кино или слишком шумным барам.

Конечно, перед тем у него была еще поездка в роскошной машине, которую он вел с детским удовольствием. Но окупала ли она эту нескончаемую молчаливую ходьбу по опустошенным осенью аллеям? «Он скучает, наверняка смертельно скучает». При этой мысли она испытывала странное удовольствие и сворачивала в другую, противоположную обратному пути аллею с некоторым страхом, к которому примешивалась надежда.

Надежда, что он вдруг взбунтуется против этой скуки, разозлится, станет язвительным, скажет

жестокие вещи, которые оправдают наконец эти двадцать лет, на которые она старше его.

Но он по-прежнему улыбался. Она никогда не видела его ни раздраженным, ни неприятным, не замечала этой снисходительной, ироничной улыбочки очень молодых мужчин, которые знают, что желанны. Этой улыбочки, которая так ясно означала: «Раз уж вам это доставляет удовольствие… Но, заметьте, я совершенно свободен, так что не раздражайте меня». Эта жестокая и обидная улыбочка молодости заставляла ее каменеть, заставляла ее столько раз порывать. С Мишелем, например, с первым, у кого она ее заметила, а потом и со столькими другими…

Он говорил «осторожнее», брал ее под руку, не давал порвать о колючий куст чулки или платье — ее такое элегантное, так хорошо сшитое платье. Интересно, если бы у него когда-нибудь появилась эта улыбочка, смогла бы она и его так же прогнать? Она не чувствовала в себе мужества. Не то чтобы она ценила его больше других: она полностью его содержала, одевала, дарила драгоценности, и он от них не отказывался. Он не прибегал к глупым и грубым уловкам других, к этому упрямому дурному настроению, когда им чего-то хотелось или когда они считали, что

ущемлены в сделке, заключенной с их телом за ее деньги. Скорее всего, так оно на самом деле и было: они считали себя ущемленными. Вынуждали покупать себе что угодно роскошное, дорогое, чего даже не желали, только ради того, чтобы вновь обрести уважение к себе. Это слово «уважение» вызывало у нее внутренний смех. Однако оно было единственным.

Обаяние Николя (да еще и это забавное имя к тому же!) состояло, возможно, как раз в том, что ему-то этих подарков хотелось. Не то чтобы он их требовал, но, получая, испытывал столь явное удовольствие, что ей казалось, будто она вовсе не старая любовница, покупающая свежую плоть и тайно презираемая, но нормальная женщина, вознаграждающая ребенка. Она сразу же отбрасывала эти сантименты. Слава богу, она не упражнялась в матерински-покровительственном стиле с этой стаей жадных и слишком красивых молодых мужчин. Не пыталась играть в прятки с фактами, была цинична и трезва, они это хорошо чувствовали, и это им внушало некий минимум уважения к ней. «Ты мне даешь свое тело, я тебе плачу». Некоторые, раздосадованные тем, что не смогли ее оттолкнуть, пытались завлечь ее в неопределенную сентиментальность,

быть может, чтобы вырвать у нее больше. Она отсылала их к другим покровительницам, указав им цену их роли: «Я вас презираю, как презираю саму себя за то, что терплю вас. И держу только ради этих двух ночных часов». Нарочно низводила их до уровня домашних животных, ничуть от этого не страдая.

С Николя было сложнее: он не вносил в свое ремесло жиголо ни привязанности, ни грубости, ни сентиментальности. Был приятным, вежливым и хорошим любовником, не слишком ловким, быть может, но пылким, почти нежным… Проводил свои дни у нее дома, лежа на ковре и читая все, что под руку подвернется. Не требовал беспрестанно, чтобы они куда-нибудь вместе пошли, а когда это случалось, будто не замечал многозначительные взгляды, которые на него бросали: оставался предупредительным, улыбчивым, словно выгуливал молодую женщину, которую сам выбрал. В сущности, кроме резковатой снисходительности, с которой она к нему относилась, ничто не отличало их отношения от отношений какой-нибудь обычной пары.

«Вы не озябли?» Он бросил на нее обеспокоенный взгляд, словно ее здоровье было ему важнее всего на свете. Она злилась на него за то, что он

так хорошо играл свою роль, что так близок к тому, на что она могла надеяться еще десять лет назад. Вспомнила, что в то время у нее еще был богатый муж, этот богатый и некрасивый муж, занятый исключительно своими делами.

Почему, из-за какой глупости она не воспользовалась своей красотой, ныне застывшей, почему не изменяла ему? Она тогда спала. Чтобы проснуться, ей понадобились его смерть и та первая ночь с Мишелем. Все и началось в ту ночь.

— Я спросил, вы не озябли?

— Нет-нет, впрочем, мы возвращаемся.

— Не хотите накинуть мою куртку?

Его красивая куртка от Крида… Она бросила на нее рассеянный взгляд, как на некое лишенное прелести приобретение. Куртка была рыжевато-серая; каштановые, густые и шелковистые волосы Николя хорошо сочетались с этими осенними оттенками.

— Сколько осеней, — пробормотала она самой себе, — ваша куртка, этот лес… моя осень…

Он не ответил. Она удивилась собственным словам, поскольку никогда не намекала на свой возраст. Он его знал, и ему было все равно. Она с таким же успехом могла броситься в этот пруд. Она представила себя на миг барахтающейся в

воде в своем платье от Диора… Глупые мысли, годные для молодых людей. «В моем возрасте не думают о смерти, а цепляются». Цепляются за блага, которые дают деньги, ночи. И пользуются. Пользуются этим молодым человеком, который идет рядом по пустынной аллее.

— Николя, — сказала она своим хриплым, властным голосом. — Николя, поцелуй меня.

Их разделяла лужа. Он на мгновение посмотрел на нее, прежде чем перешагнуть, и она вдруг подумала очень быстро: «Он должен меня ненавидеть». Он прижал ее к себе и нежно поднял ее голову.

«Мой возраст, — думала она, пока он ее целовал, — мой возраст, в этот миг ты о нем забываешь; ты слишком молод, чтобы не обжигаться на огне, Николя…»

— Николя!

Он уставился на нее, чуть задыхаясь. Его волосы были взъерошены.

— Вы сделали мне больно, — сказала она с легкой усмешкой.

Они молча пошли дальше. Она удивлялась торопливому стуку своего сердца. Этот поцелуй (что же такое нашло на Николя?), этот поцелуй был словно прощальным. И будто бы он ее

любил, жадный и печальный! Это он-то, свободный как ветер, открытый всем женщинам, всем удовольствиям. Так что же на него нашло? И эта внезапная бледность… Он опасен, крайне опасен… Они вместе прожили больше полугода, дольше это продолжаться не может, становится опасным. Впрочем, она устала, утомлена Парижем, шумом. Завтра же уедет на юг, одна.

Они остановились у машины. Она обернулась к нему и взяла за руку, машинально и сочувственно. «В конце концов, мальчуган теряет свой заработок. Даже если это временно, все равно неприятно».

— Завтра я уезжаю на юг, Николя. Я устала.

— Возьмете меня с собой?

— Нет, Николя, не возьму.

Впрочем, она сожалела об этом. Было бы забавно показать ему море. Он его наверняка уже видел, но у него всегда такой вид, будто ему все внове.

— Вы… я вам надоел?

Он говорил мягко, опустив глаза. Было что-то жаждущее в его голосе, и это ее тронуло. Она мельком представила себе жизнь, которая его ждет: гнусные сцены, компромиссы и скука, а все потому, что он слишком красив, слишком слаб

— идеальная добыча для определенных женщин из определенных кругов с определенными доходами. Таких, как она.

— Вы мне совсем не надоели, мой маленький Николя. Вы очень милы, очень обаятельны, но не могло же это длиться вечно. Верно? Мы знакомы уже больше полугода.

— Да, — сказал он, словно рассеянно. — Мы встретились у мадам Эссини, на том коктейле.

Она вдруг вспомнила тот суетливый коктейль и свое первое впечатление от Николя, его несчастный профиль, потому что старая мадам Эссини говорила с ним, стоя очень близко и по-детски хихикая. Николя был прижат к буфету и не мог сбежать. Сначала картина ее рассмешила, но потом она присмотрелась к Николя внимательно и цинично, по мере зарождения кое-каких мыслей.

Эти коктейли были настоящими ярмарками, выставками. Зрелые женщины тут чуть не задирали молодым людям верхнюю губу, чтобы заглянуть им в зубы. Наконец она решила поприветствовать хозяйку дома и, проходя мимо зеркала, вдруг показалась себе красивой. Николя так явно полегчало благодаря ее вмешательству, что она не смогла сдержать улыбки, и эта улыбка

предостерегла старую мадам Эссини.

Она представила ей Николя крайне неохотно. Потом последовала обычная болтовня о людях и об их нравах. Казалось, Николя был не слишком осведомлен. Через час он ей определенно понравился, и она решила высказать ему это очень быстро, как обычно. Они сидели у окна, на диване, и, когда он закурил сигарету, она чуть смущенно произнесла его имя:

— Николя, вы мне нравитесь.

Он не шелохнулся, но вынул сигарету изо рта и, не ответив, посмотрел на нее.

— Я живу в «Ритце», — добавила она холодно.

Ей была небезызвестна важность этого пункта. Амбиции любого жиголо требовали «Ритца». Николя хотел было возразить, но не сказал ни слова, означавшего, что он понял. Она подумала: «Тем хуже» — и встала.

— Я ухожу. Надеюсь, до скорого.

Николя тоже встал. Он был немного бледен.

— Могу я проводить вас?

В машине он обнял рукой ее плечи и засыпал кучей пылких вопросов о повышенной скорости передачи и прочих тонкостях мотора. В спальне она поцеловала его в первый раз, и он сжал ее в объятиях, чуть дрожа, порывисто и мягко. На

заре он спал как ребенок, глубоким сном, и она подошла к окну посмотреть, как занимается день над Вандомской площадью.

А потом был Николя, лежащий на ковре, играющий сам с собой в карты, Николя рядом с ней на скачках, глаза Николя при виде золотого портсигара, который она ему подарила, и Николя внезапно, по-воровски целующий ей руку во время какого-то вечера. А теперь вот был Николя, которого она собиралась бросить и который ничего не говорил, все такой же до крайности непринужденный…

Она села в машину и откинула голову назад, внезапно почувствовав себя усталой. Николя сел рядом и включил зажигание.

В дороге она иногда бросала взгляд на этот сосредоточенный и далекий профиль и не могла помешать мысли, что в двадцать лет была бы безумно в него влюблена и что вся жизнь, быть может, лишь безысходная путаница. У Итальянских ворот Николя повернулся к ней:

— Куда едем?

— Надо заехать в бар «У Джонни», — сказала она. — Я назначила встречу мадам Эссини на семь часов.

Та явилась вовремя, как обычно. Это было од-

ним из ее редких достоинств. Николя пожал руку старой даме с легким испугом.

Они переглянулись. Вдруг ей пришла в голову забавная мысль:

— Кстати, завтра я уезжаю на юг и не смогу прийти на ваш коктейль шестнадцатого. Сожалею.

Мадам Эссини воззрилась на нее и Николя с фальшивым умилением:

— Везет вам обоим. Едете к солнышку…

— Я не еду, — сказал Николя кратко.

Повисло молчание. Взгляды обеих женщин сошлись на Николя. Взгляд мадам Эссини был тяжелее.

— Но тогда вам стоит заглянуть на мой коктейль. Один в Париже вы не останетесь, это было бы слишком досадно.

— Хорошая мысль, — поддакнула она.

Мадам Эссини вытянула руку и уже собственническим жестом положила ее на рукав Николя. Тот отреагировал неожиданно. Резко встал и вышел. Она догнала его только у машины.

— Ну же, Николя, что с вами? Бедняжка Эссини немного поспешила, но вы ей уже давно нравитесь, и это не драма.

Николя продолжал стоять возле машины. Не

говорил ни слова и, казалось, дышал с трудом. Она сжалилась над ним.

— Садитесь. Объясните мне все дома.

Но он не стал ждать, когда они окажутся дома. Объяснил ей отрывисто, что он не домашняя скотина, сам выкрутится, ему только нестерпимо, что она его бросает на поживу такой стервятнице, как эта Эссини. И что ничего с ней не сможет, она слишком старая…

— Полно вам, Николя, она моя ровесница.

Они остановились перед ее апартаментами. Николя повернулся к ней и вдруг взял ее лицо в свои ладони. Смотрел на нее с очень близкого расстояния, а она тщетно пыталась высвободиться, зная, что ее макияж наверняка не выдержал дороги.

— Вы другое дело, — сказал Николя тихо. — Вы… вы мне нравитесь. Мне нравится ваше лицо. Как…

В его голосе прозвучала безнадежность, и он ее отпустил. Она была ошеломлена.

— Что «как»?

— Как вы могли предложить меня этой женщине? Разве я не провел с тобой полгода? Неужели тебе и в голову не пришло, что я мог к тебе привязаться?.. Что я мог…

Она резко повернулась.

— Ты жульничаешь, — сказала она тихо. — А я себе жульничества позволить не могу. Уже не могу. Уходите.

Поднявшись к себе, она посмотрела на себя в зеркало. Она была непоправимо стара, ей было больше пятидесяти лет, и глаза полны слез. Она поспешно собрала вещи и легла одна в свою большую постель. Долго плакала, прежде чем заснуть, убеждая себя, что это нервное.

# Лежащий человек

Он еще раз повернулся в своих обволакивающих, опасных, как пески, простынях, с отвращением обнаруживая в них собственный запах — тот самый запах, который когда-то так любил обнаруживать по утрам на телах женщин. Прекрасным парижским утром после бессонной ночи и нескольких часов тяжелого забытья рядом с каким-нибудь чужим телом. Он просыпался наполовину обессилевший, легкий, спешивший уйти. Да, он вечно торопился, но этим весенним днем, лежа тут, он умирал, бесконечно долго. Умирать — любопытное слово. Это уже не казалось ему нелепой очевидностью, так часто ускорявшей его поступки, но своего рода несчастным случаем. Все равно что сломать себе ногу, катаясь на лыжах. «Почему я, сегодня, почему?»

— Вообще-то я могу выздороветь, — произнес он вслух.

И тень, сидевшая у окна против света, слегка вздрогнула. Он и забыл о ней; впрочем, он всегда о ней забывал. Ему вспомнилось, как он удивился, узнав о ее связи с Жаном. Для кого-то она еще

жила, была красива, имела тело. У него вырвался легкий смешок, ускоривший драгоценное биение его сердца.

Он умирал. И знал, что умирает. Что-то раздирало его тело. Тем временем она склонилась к нему, поддерживая за плечи, и он чувствовал, как его собственная нелепо бесплотная лопатка сотрясается в мягкой руке жены. Нелепость, от этого он и умирал, от нелепости. Есть ли болезни, которые позволяют умереть красиво? Наверняка нет, и единственная красота людей, быть может, и состоит в этом порыве к своей будущей жизни. Но он уже успокаивался, она опустила его на подушку, и, наклонившись вместе с ним, попала лицом в луч света, и он ее увидел. У нее было красивое лицо, ради которого, в сущности, он на ней и женился двадцать лет назад. Но выражение этого лица его раздражило. Оно было озабоченным, рассеянным. Должно быть, она думала о Жане.

— Так я говорил, что, возможно, поправлюсь.

— Ну да, — сказала она.

Странно. Она и в самом деле его больше не любила. Прекрасно знала, что с ним покончено. Но для *нее* с ним уже и так давно было покончено. «Людей теряют только раз». Где он это вычитал? Правда ли это? Тем не менее она больше не уви-

дит, как он входит, читает свою газету, говорит. Нет, она его разлюбила. Если бы она его любила, то сказала бы ему: «Нет, любимый, ты умираешь», взяв его за руки, и у нее при этом было бы такое гладкое, напряженное лицо, какое бывает лишь от знания непоправимого, знания, которое приобретаешь всего за один раз, перед тем, кого любишь и кто умирает, перед…

— Не мечись, — сказала она.

— Я и не мечусь, так, шевелюсь едва. С метаниями у меня покончено.

Он взял шутливый тон. «Но в конце-то концов, я ведь умираю, — подумал он. — Может, мне надо поговорить с ней по-настоящему? Но о чем? О нас? Это уже не существует или совсем чуть-чуть». И все же сама мысль о том, что он еще может воздействовать на что-то своими словами, вернула ему его былое нетерпение.

— Я тебя задерживаю, — вздохнул он, — сожалею.

И он взял ее за руку, медленным и спокойным движением. В последний раз то же самое было два года назад, в Булонском лесу: он там сидел на скамейке с довольно молодой и глупой девицей и, чтобы не спугнуть ее, сделал точно такое же спокойное движение. Напрасно, впрочем, она бы-

ла у него уже через час. Но он вспомнил огромное расстояние, которое пришлось преодолеть его руке, чтобы достичь чуть красноватых пальцев… Такие вот моменты…

— У тебя хорошая рука, — сказал он.

Она не ответила. Он едва видел ее. Ему захотелось, чтобы она открыла ставни, но подумал, что темнота лучше подходит для этой последней комедии. Комедия, откуда ему подвернулось это слово? Тут не было никакого повода для комедии. Но его уже понесло.

— Сегодня четверг, — протянул он жалобно. — В детстве я всегда надеялся, что однажды настанет неделя с четырьмя четвергами. Теперь то же самое: прожил бы лишних три дня.

— Не говори глупости, — пожала она плечами.

— Ну уж нет! — вдруг взорвался он и сделал попытку приподняться на локтях. — Ты не украдешь у меня мою смерть! Ведь прекрасно знаешь, что я умираю.

Она посмотрела на него и чуть улыбнулась.

— Чему улыбаешься? — спросил он нежно.

— Это мне напомнило одну фразу, ты-то не можешь ее помнить, это случилось пятнадцать лет назад. Мы были у Фальтоне. Я тогда еще не знала, что ты мне изменяешь, так, догадывалась…

Он почувствовал, как в нем рождается былое удовлетворение, но довольно быстро его подавил. В какие несуразные ситуации, в какие нелепые истории он только не влипал!

— И что?

— В тот вечер я поняла, что ты любовник Николь Фальтоне. Ее мужа там не было, и ты, когда привез меня домой, сказал, что тебе надо заглянуть к себе на работу, закончить не знаю что…

Она говорила медленно, четко. А он думал о Николь. Она была белокурой, кроткой, немного плаксивой.

— Я тогда тебе сказала, что хочу, предпочитаю, чтобы ты вернулся. Не осмелилась тебе сказать, что знаю, — ты ведь всегда говорил о глупости ревнивых женщин, и я боялась…

Она говорила все мягче и мягче, мечтательно, как с нежностью рассказывают о грустном детстве. Он занервничал.

— И я тебе сказал, что умираю?

— Нет, но ты употребил точно такую же формулу: ты мне сказал… О, нет! — рассмеялась она. — Это потрясающе…

Он тоже засмеялся, но без воодушевления. В конце концов, сейчас не до смеха, особенно для нее — только он может позволить себе эту герои-

ческую веселость.

— Ну так что же? Продолжай.

— Ты мне сказал: «Ты не лишишь меня этой женщины, ведь сама же видишь, что я ее хочу!»

— А-а, — протянул он разочарованно, поскольку смутно надеялся на какую-нибудь остроту. — В этом нет ничего такого уж смешного.

— Нет, — согласилась она. — Но только ты заявил мне это с таким видом, будто это само собой разумеется!..

Она опять засмеялась, но немного стесненно, словно чувствовала его раздражение.

Но теперь он слушал свое сердце. Это было глухое и трогательное биение самого непостоянства. «Мы такая малость», — подумал он с некоторой горечью. Он устал видеть, как на протяжении его жизни подтверждаются все те общие места, которыми он гнушался в двадцать лет. Смерти предстояло стать похожей на смерть, как и любви — на любовь.

— Да ладно, — сказал он с закрытыми глазами, — вполне удобное сердце.

— Что? — спросила она.

Он посмотрел на нее. Странно было оставлять после себя кого-то, кто обременен такими вот анекдотами о тебе, о том, кто будет твоей тенью.

Кого-то, кто в двадцать лет был таким нежным, таким безоружным и кого он обнаружил таким изменившимся. Кого уже не обнаружит. Марта… Что с ней стало?

— Ты его любишь, — спросил он, — этого Жана?

Она ответила ему, но он ее и не слушал. Опять пытался сосчитать солнечные лучи на потолке. Зыбкие, перистые солнечные лучи. Будет ли Средиземное море и потом таким же синим? Во дворе кто-то пел. Он любил в своей жизни тридцать мелодий, страстно, до такой степени страстно, что под конец уже не выносил музыку. Марта когда-то играла на фортепьяно. Но красивые фортепьяно встречались так редко, а у него самого было столько вкуса к меблировке. Короче, у них не было фортепьяно.

— Ты уже разучилась играть на фортепьяно? — спросил он жалобно.

— На фортепьяно?

Она удивилась, она уже и сама не помнила: забыла свою юность. Только он еще помнил, любил воспоминание о затылке Марты на черном фоне фортепьяно. О молодом, прямом и белокуром затылке Марты. Он отвернулся.

— С чего ты вдруг заговорил о фортепьяно? —

настаивала она.

Он не ответил, но сжал ее руку. Его ужасало собственное сердце, он узнавал прежнюю боль. О! Хоть бы на мгновение вновь обрести безопасность, плечо Дафны, вкус спиртного.

Но Дафна жила с этим молодым кретином Ги, а спиртное лишь ускоряло события. И вот он боялся, боялся… Этой белой штуки в своей голове и исчезновения мышц. Какой ужас, он испытывал такой ужас перед своей смертью, что даже усмехнулся.

— Я боюсь, — сказал он Марте.

Потом повторил эти два слова как следует, с нажимом. Это были жесткие, шершавые слова, слова мужчины. Все остальные слова в его жизни были такие гладкие, так легко говорились, «милая, дорогая, когда хочешь, скоро, завтра». Имя Марта гладким не было и не часто подворачивалось ему на язык.

— Не тревожься, — сказала она.

Потом склонилась к нему, положила руку на его глаза.

— Все будет хорошо. Я буду здесь, я тебя не оставлю.

— О, это пустяки; если тебе надо выйти или купить что-нибудь…

— Немного погодя.

Ее глаза были полны слез. Бедная Марта, это ей не к лицу. Однако он почувствовал себя немного успокоенным. Спросил:

— Ты не злишься на меня?

— Я помню и остальное, — произнесла она шепотом.

И этот шепот напомнил ему десяток похожих, шепчущих, чуть задыхающихся голосов, в углу гостиной или на краю пляжа. За его гробом последует долгий и нелепый шепот. Дафна, сидя в своем кресле, последней воскресит в памяти его силуэт, а молодой Ги придет в раздражение.

— Все хорошо, — сказал он. — Я бы предпочел умереть на хлебном или овсяном поле.

— Что ты говоришь?

— Чтобы колосья колыхались над моей головой. Знаешь, «ветер поднимается, надо пытаться жить».

— Успокойся.

— Умирающим вечно говорят, чтобы они успокоились. Самое время.

— Да, — согласилась она, — самое время.

У нее был красивый голос, у Марты. Он все еще держал ее руку в своей. Умирал, держа руку женщины, все было хорошо. Неважно, что эта

женщина — его жена.

— Счастье на двоих, — сказал он, — это не так-то легко…

Потом рассмеялся, потому что, в конечном счете, счастье ему было вполне безразлично. И счастье, и Марта, и Дафна. Он был всего лишь сердцем, которое все билось и билось, и в этот миг оно было единственным, что он любил.

# Незнакомка

Она повернула на полной скорости и остановилась точно перед домом. Приезжая домой, она всегда сигналила. Всегда предупреждала Дэвида, своего мужа, что уже здесь, хотя, впрочем, и сама не знала зачем. Сегодня она даже задумалась, как и почему приобрела эту привычку. В конце концов, они были женаты уже десять лет, десять лет жили в этом прелестном загородном доме близ Ридинга, так что вроде бы ей не было никакой необходимости всякий раз объявлять вот так о своем прибытии отцу двоих своих детей, своему супругу, своему потенциальному защитнику.

— Куда он подевался? — сказала она в последовавшей тишине, вышла из машины и направилась к дому широким шагом гольфистки в сопровождении верной Линды.

Линде Фортман в жизни не повезло. В свои тридцать два года после злополучного развода она осталась одна — хоть и не без частых ухаживаний, но одна, — и Миллисент требовалась вся ее доброжелательность, весь ее задор, чтобы вытерпеть с ней, как сегодня например, целое

воскресенье за игрой в гольф. Линда не ныла, но была чудовищно апатичной. Она смотрела на мужчин (холостых, разумеется), те в ответ смотрели на нее. И похоже, все на этом и заканчивалось. Для Миллисент, женщины полной жизни, обаяния и веснушек, личность Линды была загадкой. Порой Дэвид со своим обычным цинизмом пытался объяснить ей, что к чему. «Она ждет самца, — говорил он. — Она такая же, как все остальные бабенки, ждет самца, которого сможет прибрать к рукам». Но это была неправда и, в общем-то, грубо. В глазах Миллисент Линда просто ждала, чтобы ее кто-нибудь полюбил, вместе с ее вялой безучастностью, и стал о ней заботиться.

Впрочем, если подумать, Дэвид был очень презрителен и резок по поводу Линды да и большинства их друзей. Надо бы сказать ему об этом. Не хотел замечать, например, доброты этого толстого простака Фрэнка Харриса, увальня, конечно, но такого щедрого, такого необычайно милого. У Дэвида стало привычкой говорить о нем: «Этот тип — бабник, да только без баб…» — и всякий раз хохотать над собственной шуткой, словно это была неподражаемая острота Бернарда Шоу или Оскара Уайльда.

Она толкнула дверь, вошла в гостиную и на мгновение ошеломленно застыла на пороге. Повсюду были окурки и открытые бутылки, а в углу валялись кучей два скомканных халата, ее собственный и Дэвида. На короткий миг ее охватила паника, она хотела повернуться и уйти, ничего не увидеть. Разозлилась на себя за то, что не предупредила по телефону, дескать, вернется раньше: не в понедельник утром, а в воскресенье вечером. Но только за ее спиной уже стояла Линда, округлив глаза на белом лице и словно поперхнувшись, так что ей требовалось срочно найти защиту от этого, от чего-то непоправимого, что наверняка случилось у нее дома. У нее?.. Вообще-то… у них? Поскольку она в течение десяти лет говорила «наш дом», а Дэвид говорил просто «дом». Она в течение десяти лет говорила о зеленых насаждениях, о гарденниях, о верандах, о саде, а Дэвид в течение этих десяти лет ничего не отвечал.

— Но в конце-то концов, — сказала Линда, и от ее визгливого голоса Миллисент пробрала дрожь, — в конце-то концов, что тут произошло? Дэвид в твое отсутствие вечеринки устраивает?

Она смеялась. Казалось, ее это изрядно развеселило. И в самом деле, вполне возможно, что

Дэвид, позавчера уехавший в Ливерпуль, неожиданно вернулся, провел ночь здесь и отправился ужинать в клуб, это совсем рядом. Только вот оставались эти два халата, эти два похоронных обноска, эти два знамени почти несомненной измены, и она удивилась собственному удивлению. Поскольку Дэвид — очень красивый мужчина. У него светлые глаза, черные волосы, тонкие черты и много юмора. И все же она никогда не думала, никогда не имела ни малейшего предчувствия, а тем более ни малейшего доказательства, что он желал какую-нибудь другую женщину, кроме нее. Она даже знала это, хоть и смутно, но наверняка. Была в этом совершенно уверена: Дэвид никогда не заглядывался ни на какую другую женщину, кроме нее.

Она встрепенулась, пересекла комнату, взяла из угла оба кощунственных халата и быстро забросила их в кухню. Очень быстро, но все же не настолько, чтобы не заметить две чашки на столе и немного заблудшего масла на блюдце. Она торопливо закрыла дверь, словно стала свидетелем изнасилования, и, вытряхивая пепельницы, убирая бутылки и шутя, постаралась отвлечь Линду от ее первого любопытства и усадить.

— Это глупо, — сказала она, — но я что-то со-

мневаюсь, приходила ли уборщица наводить тут порядок после прошлых выходных. Садись, милочка. Если хочешь, приготовлю тебе чашку чаю.

Линда села, зажав меж колен руки с сумочкой. Вид у нее был подавленный.

— Вместо твоего чая, — возразила она, — я лучше бы выпила чего-нибудь покрепче. Эта последняя партия в гольф меня доконала…

Тогда Миллисент вернулась в кухню, избегая смотреть на те две чашки, схватила несколько кубиков льда, бутылку бренди и вернулась со всем этим к Линде. Они сели друг напротив друга в гостиной, в этой великолепной гостиной с мебелью из бамбука и узорчатого джерси, которую Дэвид привез неведомо откуда. Комната вновь приобрела если не человеческий, то, по крайней мере, буржуазный, английский облик, и через застекленную дверь было видно, как ветер гнет вязы, тот самый ветер, который вынудил их час назад покинуть поле для гольфа.

— Дэвид в Ливерпуле, — заявила Миллисент и вдруг осознала, что говорит не допускающим никаких возражений тоном, словно бедная Линда была способна ей перечить.

— Ну да, — поддакнула Линда предупредитель-

но, — знаю, ты мне говорила.

Тут они вместе посмотрели в окно, потом на свою обувь, потом в глаза друг другу.

Что-то начинало пересиливать в душе Миллисент. Что-то вроде волка, лиса, в общем, какого-то дикого зверя, который причинял ей боль. И эта боль все усиливалась. Она отхлебнула большой глоток бренди, чтобы успокоиться, и опять заглянула Линде в глаза. «Ладно, — сказала она себе, — во всяком случае, если это то, что я думаю, если это то, что подумал бы или мог бы подумать любой логичный человек, это во всяком случае не Линда. Мы вместе провели выходные, и она напугана не меньше меня, даже, как это ни странно, больше меня». Поскольку в голове Миллисент мысль о Дэвиде, приводящем женщину в их дом, будь тут дети или нет, мысль о Дэвиде, приводящем сюда эту женщину и предлагающем ей ее домашний халат, оставалась совершенно невероятной. Дэвид не смотрел на других женщин. Впрочем, Дэвид вообще ни на кого не смотрел. И это «ни на кого» вдруг зазвенело в ней, словно гонг. Это правда, он ни на кого не смотрел. Даже на нее. Дэвид уродился красивым и слепым.

Конечно, после десяти лет было вполне естественно, почти более чем прилично, что их

физические отношения практически свелись к нулю. Конечно, было естественно, что по истечении всего этого времени не так уж много осталось от того страстного, пылкого и такого беспокойного молодого человека, которого она знала, но все же было почти странно, что этот красивый муж, этот столь обаятельный слепец…

— Миллисент, — спросила Линда, — что ты обо всем этом думаешь?

Она сделала рукой круговой жест, чтобы подчеркнуть окружающий их беспорядок.

— А что я, по-твоему, должна думать? — сказала Миллисент. — Или миссис Бриггс, прислуга, не приходила в понедельник прибрать дом, или же Дэвид провел здесь выходные с какой-то потаскухой.

И она рассмеялась. В сущности, она даже испытала облегчение. Проблема четко определена, все просто. Вполне можно посмеяться с доброй подругой над тем, что ей изменили и что это внезапно открылось из-за слишком сильного ветра, помешавшего игре в гольф.

— Но, — сказала Линда (и тоже засмеялась), — но что ты хочешь сказать, с какой потаскухой? Дэвид все свое время проводит с тобой, твоими детьми и вашими друзьями. Не очень пред-

ставляю себе, как бы он мог выкроить время на настоящую потаскуху.

— О! — воскликнула Миллисент, засмеявшись еще пуще — и она действительно почувствовала облегчение, сама не зная почему, — может, это Памела, или Эстер, или Джейн… Поди знай.

— Не думаю, чтобы какая-нибудь из них ему нравилась, — возразила Линда почти грустно и сделала движение, чтобы встать, которое почти испугало Миллисент.

— Ну полно тебе, Линда, — сказала она, — даже если мы по уши в адюльтере, ты прекрасно знаешь, что драму мы из этого не сделаем. Мы с Дэвидом уже десять лет как женаты. У каждого из нас было несколько случаев… но на этом драма и заканчивалась…

— Знаю, — отозвалась Линда, — все это не слишком важно. Знаю, но предпочла бы уйти. Хотела бы вернуться в Лондон.

— Ты ведь не слишком любишь Дэвида, верно?

На секунду в глазах Линды мелькнуло ошеломление, тотчас же сменившееся чем-то вроде теплоты, нежности.

— Да нет же, я очень люблю Дэвида. Я с ним познакомилась в пять лет, он был лучшим другом моего брата, в Итоне.

И после этой глупой, незначительной фразы пристально посмотрела на Миллисент, словно изрекла что-то крайне важное.

— Ладно, — сказала Миллисент, — тогда не понимаю, почему ты не хочешь простить Дэвиду то, что я сама готова ему простить. В доме и впрямь беспорядок, но я предпочитаю остаться здесь, а не возвращаться в эту адскую пробку до самого Лондона.

Линда взяла бутылку бренди и налила себе огромную, по крайней мере на взгляд Миллисент, порцию.

— Дэвид с тобой очень мил, — заметила она.

— Ну конечно, — согласилась Миллисент совершенно искренне.

И правда, он мужчина предупредительный, вежливый, покровительственный, порой полный воображения и, к несчастью, чаще всего практически неврастеник. Но об этом она Линде не собиралась рассказывать. Не собиралась рассказывать ей о Дэвиде, который целыми днями лежал в Лондоне на диване, отказываясь выходить. Не собиралась рассказывать об ужасных кошмарах Дэвида. Не собиралась рассказывать о маниакальных телефонных звонках Дэвида какому-то деловому человеку, чье имя она даже

не могла вспомнить. Не собиралась рассказывать о вспышках гнева Дэвида, стоило кому-то из двоих детей не сдать экзамен. Не собиралась также рассказывать Линде, что Дэвид мог быть отвратительным, когда дело касалось меблировки, картин, или до какой степени Дэвид, предупредительный Дэвид, мог иногда забывать о своих встречах, в том числе и с ней. Или в каком состоянии порой возвращался. Не могла также рассказать Линде, как однажды в зеркале заметила на его спине такие отметины… И при этом простом воспоминании что-то пошатнулось в ней: ее сдержанность англичанки, приличной женщины, и она спросила наконец, услышала, как спрашивает: «Думаешь, это Этель или Памела?» Потому что, в конце концов, у него практически не было времени видеть других женщин, кроме этих двоих. Женщины, даже те, что строят из себя бескорыстных и живущих в тени любовниц, все же требуют некоторого времени от мужчины, которого любят. Если у Дэвида что-то и было, то лишь что-то грубое, разнузданное и быстрое, с проститутками или специалистками. Как можно заподозрить такого гордого, такого деликатного Дэвида в мазохизме?

До нее долетел голос Линды, словно откуда-то

очень издалека.

— Почему ты решила, что это Памела или Этель? Они такие требовательные…

— Ты права, — согласилась Миллисент.

Она встала, направилась к зеркалу и посмотрела на себя. Она была еще красива, ей это достаточно часто говорили, а порой и достаточно доказывали, а ее муж был одним из самых обаятельных и одаренных мужчин в их кругу. Так почему же у нее впечатление, что она видит в этом зеркале какой-то скелет без плоти и без нервов, без костей и без молочно-белой кожи?

— Я нахожу досадным, — сказала она, уже не совсем понимая, о чем говорит, — я нахожу досадным, что у Дэвида нет друзей среди мужчин, равно как и среди женщин. Ты заметила?

— Ничего я не заметила, — отозвалась Линда или, скорее, голос Линды, потому что уже стемнело.

И Миллисент видела только ее силуэт, какую-то серую мышь на диване, которая знала… но кто что знал? Имя женщины. Почему бы ей не назвать его? Линда достаточно плоха или достаточно хороша — в обоих случаях можно ли знать это наверняка? — чтобы шепнуть ей имя. Тогда почему этим июльским вечером, облаченная в

свое одиночество и светлый костюм, она кажется ей такой ужасной женщиной? Надо вернуть все это к рассудку, на землю. Если это правда, надо принять, что у Дэвида связь с какой-то женщиной, подругой или профессионалкой. Главное, не раздувать грязную историю, и тогда позже, быть может, она даже сумеет весело отомстить ему с Перси или с кем-нибудь другим. Надо вернуть вещи к светскости, к классицизму. Так что она встала, отряхнула диван царственным жестом и объявила:

— Послушай, дорогая, мы в любом случае переночуем здесь. Пойду взгляну, в каком состоянии наши комнаты наверху. А если мой дражайший супруг и там устроил кавардак, позвоню миссис Бриггс, которая живет в двух километрах отсюда, чтобы приехала нам помочь. Тебе это подходит?

— Совершенно, — откликнулась Линда из тени. — Совершенно, как хочешь.

И Миллисент встала и направилась к лестнице. По пути взглянула на фото их двоих сыновей и рассеянно им улыбнулась. Они поступят в Итон, как Дэвид и кто там еще? Ах да, брат Линды. Она так удивилась, что была вынуждена вцепиться в перила, поднимаясь по лестнице. Что-то подсекло ей ноги, но не гольф и не возможность

измены. Кто угодно может оказаться обманутым и должен быть к этому готов, это еще не причина устраивать драмы и корчить гримасы. Во всяком случае, такое не для Миллисент. Она вошла в «их» спальню, спальню «их» дома, и без малейшего смущения заметила, что постель разобрана, разворочена и всклокочена как никогда за все время ее брака с Дэвидом — так ей показалось. Второе, что она заметила, были наручные часы на прикроватной тумбочке, на ее тумбочке. Это были большие, водонепроницаемые мужские часы, и она на мгновение недоверчиво и завороженно прикинула их вес, подцепив кончиками пальцев, прежде чем понять по-настоящему, что их тут забыл другой мужчина. Она поняла все. Внизу была Линда, все более обеспокоенная и напуганная, все глубже погружавшаяся в темноту. Миллисент спустилась и с любопытством, с чем-то вроде жалости посмотрела прямо в лицо этой милочки Линды, которая тоже знала.

— Бедняжка моя дорогая, — сказала она, — боюсь, ты была не права. В спальне валяется женская комбинация. Совершенно невозможная — оттенка розовой лососины.

## Пять «отвлечений»

Если резюмировать жизнь графини Жозефы фон Краферберг, женщины, известной своей красотой и природным бессердечием, это можно было бы сделать в пяти «отвлечениях». Действительно, Жозефа, похоже, умела в решительные моменты своей жизни совершенно отстраниться, сосредоточившись на какой-нибудь незначительной с виду мелочи, и благодаря этой поразительной способности они ее нисколько не задевали.

Первый раз это случилось во время войны в Испании, в деревенской гостинице, где умирал ее молодой супруг. Призвав ее к своему смертному одру, он твердил ей слабеющим голосом, что только из-за нее он, с одной стороны, пошел на эту войну, а с другой — нарочно искал смерти. Говорил, что ее безразличие и холодность в ответ на его великую любовь и не могли привести к чему-либо другому и что он желает ей понять однажды, что такое молоко человеческой нежности. Она слушала его — неподвижная, очень хорошо одетая. Машинально, со смесью отвра-

щения и любопытства обводила глазами зал, загроможденный телами раненых, оборванных солдат, как вдруг через окно заметила хлебное поле, колыхавшееся на летнем ветру, точь-в-точь как у Ван Гога. Высвободив свои пальцы из мужниной руки, она встала, прожурчав: «Ты видел это поле? Прямо Ван Гог», и на несколько минут оперлась о подоконник. Он же закрыл глаза и, когда она вернулась, был уже мертв (к ее большому изумлению, впрочем).

Ее второй муж, граф фон Крафенберг, был человеком очень богатым и могущественным, который долго надеялся навязать ей роль элегантной, понятливой и декоративной фигурантки. Они посещали скачки, осматривали знаменитые конюшни «Крафенберг», проигрывали в казино марки «Крафенберг», ездили в Канны и в Монте-Карло окунать в море загорелые тела «Крафенберг». Тем не менее холодность Жозефы, которая поначалу более, чем любое другое ее достоинство, прельстила Арнольда фон Крафенберга, в конце концов стала его пугать. Одним прекрасным вечером в их роскошных апартаментах на Вильгельмштрассе Арнольд упрекнул ее за эту холодность и дошел даже до того, что спросил, не приходилось ли ей, случайно, думать о чем-ли-

бо другом, кроме как о себе самой. «Вы отказались подарить мне маленьких Крафенбергов, вы почти не говорите, и, насколько я знаю, у вас даже друзей нет». Она ответила, что всегда была такой, уж он-то должен был бы это знать, когда женился на ней. «У меня для вас есть новость, — сказал он тогда холодно, — я разорен, совершенно разорен, и через месяц мы удалимся в наш деревенский домик в Шварцвальде. Это единственное, что я смог спасти». Она рассмеялась и ответила ему, что он поедет один. Дескать, ее первый муж оставил ей достаточно денег, чтобы она смогла вести приятную жизнь в Мюнхене, а Шварцвальд всегда нагонял на нее скуку. Вот тогда-то железные нервы известного банкира не выдержали. Он стал громить пинками гостиную, вопя, что она вышла за него только ради его денег, что он это вполне знал и что ловушка, которую он ей только что расставил, ему это доказала, поскольку он разорен не больше, чем Онассис… Пока он таким образом вопил, а драгоценные безделушки летали по комнате, Жозефа с ужасом заметила затяжку на своем правом чулке. В первый раз с начала этого тягостного диалога она проявила признаки удивления и резко встала. «У меня на чулке петля поползла», — сообщила она и на

глазах буквально оторопевшего бедняги графа Арнольда фон Крафенберга покинула комнату.

Граф забыл или, скорее, сделал вид, будто забыл эту историю. Потом она вытребовала себе собственную, совершенно отдельную от него квартиру с большой, возвышавшейся над всем Мюнхеном террасой, где летом часами лежала на солнце в шезлонге, под веерами двух толстых бразильских горничных, глядя в небо и не говоря ни слова. Ее отношения с супругом свелись к чеку, который он отправлял ей со своим личным секретарем, молодым и красивым мюнхенцем по имени Вильфрид. Вскоре Вильфрид влюбился в нее, в ее внешнюю неподвижность, и однажды, воспользовавшись тем, что обе бразильянки едва говорили по-немецки, отважился сказать, что любит ее до потери рассудка. Он думал, что она его прогонит, добьется, чтобы он потерял место у графа, но она уже довольно давно жила одна на этой террасе, так что ограничилась словами: «Очень хорошо… Вы мне нравитесь… Я скучаю…» Потом взяла его за шею и, несмотря на его смущение, яростно поцеловала на глазах обеих безразличных бразильянок. Потрясенный, достигший вершины счастья, он поднял наконец голову и спросил, станет ли однажды ее

любовником и когда. В этот самый миг из вееров горничных выпорхнуло перышко и слегка закружилось в небе. Она проследила за ним глазами и сказала: «Взгляни-ка на это перышко. Как думаешь, перелетит оно через стену или нет?» Он ошеломленно воззрился на нее и повторил, чуть ли не с гневом: «Я вас спросил, когда вы станете моей». Она улыбнулась и ответила, притянув его к себе: «Прямо сейчас». Обе бразильянки, напевая, продолжали помахивать своими веерами.

Она была в кабинете д-ра Лихтера, все такая же бесстрастная. А тот смотрел на нее с любопытством и своего рода ужасом. «Я не видел вас со времени самоубийства этого бедного мальчика, — сказал он, — секретаря вашего мужа». «Вильфрида», — уточнила она. «Вы так и не выяснили, почему он сделал это у вас дома?» Их взгляды встретились. Взгляд врача был презрительным, агрессивным, но Жозефа смотрела на него совершенно безмятежно. «Нет, — ответила она, — я сочла это крайне неуместным».

Врач немного дернулся и открыл ящик, откуда достал несколько рентгеновских снимков. «У меня для вас плохие новости, — сообщил он. — Я предупредил герра фон Крафенберга, и он сказал, чтобы я показал вам это». Она оттолкнула

снимки рукой в перчатке и улыбнулась. «Никогда не умела читать рентгенограммы. Думаю, у вас есть результаты анализов. Они положительны?» «Увы, да», — ответил он. Они пристально посмотрели друг на друга, потом она отвела глаза, заметила картину над его головой и встала. Сделала три шага, поправила картину и невозмутимо вернулась на свое место. «Извините, но меня это раздражало». Врач проиграл пари, которое заключил с самим собой, так и не сумев хотя бы раз вывести Жозефу фон Крафенберг из равновесия.

В гостиничном номере Жозефа написала короткую записку своему мужу: «Дорогой Арнольд, как вы меня часто упрекали, я никогда не умела страдать. Не собираюсь начинать сегодня». Потом встала и в последний раз посмотрела на себя в зеркало, по-прежнему задумчиво и спокойно. Странно, она даже слегка улыбнулась себе, затем подошла к кровати и открыла сумочку. Достала оттуда маленький, совершенно черный, блестящий пистолет и передернула затвор. При этом, поскольку тот, к несчастью, оказался чуть туговат, сломала себе ноготь. Жозефа фон Крафенберг не выносила небрежности ни в чем. Она встала, открыла косметичку, которая была у нее

с собой, достала пилочку для ногтей и тщательно исправила повреждение. После чего вернулась к кровати, снова взяла пистолет и прижала к виску. Выстрел не произвел большого шума.

# Дерево-джентльмен

Стоя на крыльце, лорд Стивен Кимберли обернулся и протянул руку своей невесте. В закатном свете этой прекрасной английской осени она была еще обворожительнее, женственнее и грациознее, чем обычно. Он горько пожалел на секунду, что все это оставляет его совершенно холодным. Но в конце концов, она его любила или думала, что любила, принадлежала к тому же кругу, располагала неплохим приданым, а ему в тридцать пять лет пора было жениться. Они населят английскую деревню весьма здоровыми детишками, которые унаследуют голубые глаза своей матери и темные волосы отца или же, наоборот, черные глаза и белокурые волосы. Будут пронзительно орать, кататься на пони и непременно умилят старого садовника.

Конечно, внутренний монолог Стивена может показаться циничным, но, по сути, он таковым почти не был. Воспитанный в этом доме, потом в Итоне, потом в Лондоне, он прошел через детство, отрочество и полузрелость с невозмутимым спокойствием, за исключением одного раза, но

о том разе, о том мгновении он совершенно не вспоминал. Ностальгия просыпалась лишь в конце аллеи.

— Как красивы эти буки! — воскликнула очаровательная Эмили Хайлайф, его невеста, зазвенев хрустальным смехом.

Сама она не без некоторого удовольствия рассматривала мысль стать в один из ближайших дней хозяйкой этих мест, этого мужчины и благовоспитанных детишек, которых он любезно ей подарит. А потому воздушным шагом, опершись пальчиками о мускулистую руку своего кавалера, спустилась с крыльца на несколько ступенек.

Сидя под зонтиком от солнца и угощаясь чаем со сдобными булочками, их давно овдовевшие матери (одна благодаря Индии, другая бирже) смотрели на них с восхищением. Лишь образ внуков, которых им наверняка подкинут, на месяц тут, на месяц там, во время каникул, немного омрачал это золотое будущее, но, в конце концов… для этого есть няньки.

— Я так рада, — сказала леди Кимберли. — Стивену пора остепениться. Мне ничуть не нравятся его лондонские друзья.

— Каждый молодой человек должен отгулять свое, — снисходительно ответила ее собесед-

ница. — Для моей малышки Эмили так даже предпочтительнее.

Пока их матери обменивались этими исполненными здравого смысла прогнозами, молодые люди вышагивали вдвоем по аллее. Хотя Стивен часто приезжал в Данхилл-Кастл, но прогуливался там довольно редко. Чтобы оценить прелесть передвижения, ему, как и многим его сверстникам, непременно требовалось взгромоздиться на что-нибудь четырехколесное или четырехкопытное. Тем не менее его невеста не переставала восторгаться этими чертовыми буками, и он сопровождал ее небрежным шагом, тоже любуясь, хоть и не видя, стремительным и косым спуском солнца в листву. Вот так, сам того не заметив, он и очутился вместе ней на прогалине, прятавшейся в самом конце длинной аллеи. Это было очень укромное и очень красивое место, куда вел узкий проход меж колючих кустов. И там, при виде дерева, перед ним вдруг воскресло прошлое, лицо Фэй и, конечно, единственный живой момент его жизни.

Ему было пятнадцать, а ей четырнадцать. Она была дочкой фермера-арендатора. Жила чуть дальше, у реки. У нее были темные волосы и вид дикого зверька, который часто бывает у девочек,

растущих на природе. Он же был тощим верзилой, «облаченным простодушной честностью и белым льном», точнее, белым тиком, поскольку тем летом в Данхилл-Кастле стояла дьявольская жара. Они начали с совместной рыбалки, ловили почти ручных форелей поместья (почти ручных, но строго запрещенных), и, ощущая в своей ладони их ледяное и ужасающее биение, Стивен испытывал любопытное чувство: удовольствие от запретного и, гораздо более смутное, разумеется, желание другой, столь же неистовой, но не такой холодной, как эта, добычи. Фэй смеялась над ним, смеялась над его выговором, над его прыщами, над его неуклюжестью. Всегда приходила первой в их безумном беге наперегонки. Она была полной Неизвестностью, одновременно настоящей натурой и женщиной, то есть всем тем, чего он не знал, а впрочем, имел весьма мало шансов узнать. Но тем летом, тем единственным летом, в первый и последний раз в своей жизни Стивен испытал чары Данхилла и восхитился его красотой, просто потому, что Данхилл был покрыт листвой, чтобы ложиться, наполнен сеном, чтобы прятаться, а эта почтенная прогалина вдруг стала в летнюю жару местом тайных наслаждений.

То, что должно было случиться, случилось в конце одного долгого дня. Прежде чем поцеловать его, Фэй назвала его по имени, Стивен, и ему на мгновение показалось, что он в первый раз слышит собственное имя. Оба были совершенно беспечны, поскольку прекрасно сознавали, что это лето наверняка будет единственным; и оба ни на миг не испытывали друг к другу ни малейшей сентиментальной склонности: она была цинична, потому что уже смирилась, а он просто шалел от своего наслаждения. Лето проходило. Благодаря солнцу и уже опытным ласкам Фэй прыщи Стивена исчезли, его неуклюжесть превратилась в силу, а собственная ложь казалась ему столь же нормальной, как правда. Невозможно описать красный ад детской любви. Окруженные, обложенные со всех сторон сторожами угодий, родителями, кузенами, охотниками и прочими обитателями этих мест, Стивен и Фэй каждый день оказывались на той же поляне и под тем же деревом — платаном, который привез из Прованса один из его дядюшек, сумасшедший алкоголик ирландец (никто так и не узнал зачем), и который изгнали на эту поляну, как мрачный символ семейного порока. И каждый день они обнаруживали свои тела прижатыми друг к другу, а потом

запах травы и запах любви. Они расстались без единого слова.

Когда Стивен вернулся через два года после своего классического путешествия в Европу, непременного для состоятельного молодого человека, он мельком увидел во время прогулки беременную, а впрочем, весьма счастливую в браке Фэй. Нельзя сказать, что они обменялись хоть малейшим взглядом. Это были два немых животных, встретившихся на одном пути, поскольку ни тот ни другой не могли похвастаться, что страдали от этой разлуки. Тем не менее, хотя их роман был лишен всякого лиризма и последствий, однажды, когда страсть была сильнее, чем обычно, Стивен вырезал на пресловутом платане их инициалы: «S» и «F», без всякого сердца между ними, просто два инициала, «S» и «F». И этим погожим вечером после своей помолвки при простой, внезапно мелькнувшей мысли об этих двух буквах, сцепившихся одна с другой, как две пиявки, пожирающие дерево, при простом воспоминании о бесконечных ужинах за семейным столом тем самым летом, когда у него дрожали руки, душил белый воротничок, а перед измученными глазами проходили чередой все эти более чем тревожные видения, вдруг здесь,

в тридцать пять лет, его сердце — буквально погашенное и разбитое с тех пор его собственной жизнью, его красивой невестой и неотвратимым будущим, — его сердце забилось. Он вновь увидел себя в пятнадцать лет, обнаженным индейцем на плече черноволосой индианки, и с какой-то почти сексуальной ненавистью посмотрел на белокурые кудряшки Эмили.

«Она увидит эти инициалы, — подумал он. — Не так много имен на «S» в этой семье, так что придется объяснять эту неистовую страсть каким-нибудь слащавым романом. Придется даже упомянуть какую-нибудь маленькую соседку…»

И пока его ум уже отчаянно искал среди знакомых своей матери маленькую девочку, чье имя начиналось бы с «F» и которую он мог бы привести сюда (вполне правдоподобным образом, между двумя пирожными, и в любом случае в непреодолимом кринолине), кто-то в нем застонал от этой последней лжи. Конечно, он будет изменять Эмили, позже, когда это станет прилично, после первого ребенка, например, и тогда, конечно, будет вовсю лгать ей. Но тут — немножко другое. Он поколебался. Она обернулась к нему со смехом и спросила:

— Неужели вы меня ждали, Стивен?

Немного сбитый с толку, он сделал два шага и остановился рядом. Ее рука опиралась на ствол возле самых букв, но если «S» было еще совершенно четким, то «F» слегка расплылось, и вытекший из дерева сок сделал «F» от имени «Фэй» ужасно похожим на «E».

— «Стивен — Эмили», — сказала она, — уже…

Она улыбалась ему, но Стивен понял, что жизнь только что, чуть поздновато, быть может, дала ему оплеуху, бесповоротно с ним распрощавшись.

# Вечер

— Некоторые вещи удается забыть, только заинтересовавшись чем-нибудь другим, — сказала она вслух с коротким смешком и перестала ходить по комнате. Имелось три гипотезы: позвонить Симону и куда-нибудь с ним пойти, принять три таблетки снотворного и заснуть до утра (но это решение ей претило, как бесполезная отсрочка) или же попытаться почитать книгу. Но книга, какой бы увлекательной ни была, выпала бы у нее из рук, а точнее (она уже угадывала свою позу), она сама положила бы ее на одеяло и закрыла глаза, сидя на постели с желтизной от света на веках и этой дурнотой внутри, которая не покидала ее. Или покидала временами, в моменты торжества, веселости, когда она говорила себе, когда она «признавалась» себе, что никогда не любила Марка, а потому и неважно, что он ушел. Нет, решение с книгой приходилось отбросить: читая, она не вынесла бы себя. Она сможет вынести себя, только ища забвения. С «другими».

Позвонить Симону. Пока звучал гудок, она передвигала трубку, черный влажный эбонит

которой был ей немного противен, от щеки к уху, слушая, как пронзительный звук то затухает, то вновь появляется в зависимости от того, прижимала она ее или нет к своей коже. «Неплохая сцена для фильма, — подумала она. — Женщина звонит своему любовнику, заранее лаская его голос…» У Симона свежий голос, вечно свежий голос Симона. Она сообразила, что, должно быть, уже поздно.

— Это я, — сказала она.

— Ты в порядке? — спросил Симон. — Хотя нет, ты не можешь быть в порядке, если звонишь мне в такое время.

— Мне не плохо, — солгала она, и ее глаза наполнились слезами от нежности в голосе «другого», — мне не плохо, но я бы предпочла пойти куда-нибудь, выпить стаканчик. Ты в постели?

— Нет, — сказал Симон, — и к тому же меня тоже мучит жажда. Заеду через десять минут.

Едва положив трубку и глядя на свое помятое лицо в зеркале, она почувствовала, что ее угнетает мысль о выходе, захлестывает желание остаться в этой комнате, наедине с отсутствием Марка, с тем, что стоило, быть может, назвать болью. Питать ее, отдаться ей. В конце концов она возненавидела инстинкт самосохранения,

который вот уже скоро как месяц отвращает ее от этого, как от пугала. И почему бы не попробовать пострадать немного, вместо того чтобы избегать этого, вечно всего избегать? Только это бесполезно, так же бесполезно, как позволить себе быть несчастной, пытаться быть счастливой, так же бесполезно, как все остальное, как ее жизнь, как Симон, как эта сигарета, которую она потушила в пепельнице, прежде чем снова накраситься.

Позвонил Симон. Она улыбнулась ему, когда они спускались по лестнице, обернулась к нему, запрокинув голову, и послала смущенную улыбку. «Правда, мы были любовниками, — подумала она. — До Марка. Я уже не очень помню, как мы порвали». На самом деле она уже мало что помнила об этом периоде, поскольку все падало перед Марком, рассыпалось, как стены Иерихона. О! Перестать думать о Марке. Она его больше не любит, не хочет, чтобы он вернулся, сожалеет, конечно, но только о себе самой, о себе самой в этот самый миг — круглой, гладкой, вполне довольной, кружащейся по чужой орбите.

— Я устала от себя самой, — сказала она в машине.

— Ты не одна, — отозвался Симон и вдруг перешел на фальцет, — мы все тебя очень любим.

— Знаешь, — продолжила она, — это как в той песне Мак орлана:

*Я хотел бы, я хотел бы сам не очень знаю чего,*

*Я хотел бы уже не слышать свой голос…*

— А мой слышать хочешь? — спросил Симон. — Я тебя люблю, дорогая, страстно тебя люблю.

Они вместе засмеялись. Возможно, это было правдой. Он обнял ее за плечи перед ночным клубом, и она машинально прижалась к нему.

Они танцевали. Музыка была чем-то теплым, чудесным. Она припала щекой к плечу Симона, молчала. Смотрела, как перед ней кружатся в танце другие пары, смотрела на их лица, запрокинутые в смехе или напряженные в ожидании, на руки мужчин, по-собственнически прижатые к спинам женщин, на подчиненные ритму тела. Не думала ни о чем.

— Это молчание… — сказал Симон. — Марк?

Она покачала головой:

— Знаешь, Марк — всего лишь история, как другие. Не стоит ничего преувеличивать. Жизнь продолжается.

— К счастью, — заметил Симон. — Жизнь

продолжается. Остаюсь я, остаешься ты. Мы танцуем.

На рассвете они вышли на свежий воздух, встрепенулись, и машина Симона отвезла их к нему домой. Они ничего не говорили, но потом, уже в постели, она поцеловала его в щеку, пристроилась у его плеча, и он вставил ей в губы зажженную сигарету.

Через шторы проникал день, освещал одежду на полу, и она не открывала глаз.

— Знаешь, — сказала она спокойно, — забавная все-таки штука жизнь, все это…

— Что? — спросил он.

— Не знаю, — ответила она и, повернувшись к нему, заснула на боку.

Он какое-то время неподвижно лежал, потом погасил обе их сигареты и тоже заснул.

# Дива

— Видишь ли, — сказала она, опираясь о панель декорации и попивая свою окрашенную мятой воду, — видишь ли, если я уже не занимаюсь тобой, то не потому, что ты мне не нравишься, я даже тебя люблю, как можно любить в моем возрасте, но… — Она улыбнулась: — Я думаю только о нем.

— О ком о нем?

Он свирепел. Вновь становился красивым. Его ревность, какой бы низкой ни была, потому что основывалась только на страхе завтрашнего дня и нехватке денег, ревность делала его неистовым и красивым. Впрочем, как раз этого она всегда и добивалась от всех своих любовников, говоря с ними обычно только о других.

Публика волновалась. Этим вечером в Италии было ветрено. И античный театр был буквально исхлестан во всех своих закоулках десятками прожекторов, миллионами ватт, прогрессом, пришедшим на подмогу прошлому, как говорят эти идиоты. Она передернула сильными плечами, обернулась к нему и сказала:

— Через две минуты мой выход.

Он не ответил. Он таскался за ней из города в город уже больше полугода. Занимался с ней любовью — средне, обкрадывал тоже средне, но тут смертельно злился на нее: когда она выходила на сцену, когда сбрасывала, оставляла позади свои килограммы, свои морщины и самое себя и когда в темноте пьяные от счастья люди — будь то в Берлине, Нью-Йорке или Риме — ждали, ловили первые звуки ее голоса. На сцене она была одна, трагически, упоительно одна, и он это чувствовал. Тут он был для нее не важнее трех ее бывших мужей или тридцати любовников. Хуже того, он был даже не важнее алебардщика из массовки, потому что тот, по крайней мере, был необходим для спектакля.

Толпа умолкла, и он с чем-то вроде отвращения посмотрел на эту кучу слишком пышной плоти рядом с собой — похабной, думал он иногда, — но откуда взмывал этот голос, этот клич, который завораживал всех снобов-меломанов. Ну уж нет, он как можно скорее вытянет у нее максимум и как можно скорее смоется. Не для того живут в нищете, не для того предупредительно уступают прихотям всяких самцов или самок, чтобы в тридцать лет оказаться следующим у дамочки в

климаксе, пусть и гениальной!

«Я белокурый, — подумал он, — белокурый, и красивый, и мужественный. А эта Какионни — просто куча. Да, точно: куча, и ей придется заплатить мне довольно дорого».

Оркестр сделался томным, и он подумал, что дело идет к последнему акту. Теперь она опять возвращалась к нему. Лоб блестел от пота, а на лице опять это выражение: наполовину растерянное, наполовину удовлетворенное, которое ей не придавала даже любовь. Она сделала детский, почти смешной жест, чтобы опереться о него. Ее костюмерша была уже здесь, со стаканом в руке, и она, не дыша, выпила своей мятной воды.

— Как тебе музыка? — спросила она и, подняв тяжелые перламутровые веки, пристально посмотрела на него.

«Боже правый, мне тридцать лет! Я худощавый и красивый и сгодился бы для любой иранской принцессы. Да как она осмелилась, она, с этим обрюзгшим, размалеванным, расплывшимся от пота лицом, как она осмелилась спрашивать у меня, как мне… что?»

— Я не знаю эту оперу, — сказал он надменно.

Она рассмеялась:

— Я ее пела всего три раза в жизни. — Потом

сделала паузу и добавила: — И все три раза вновь обретала его. Надеюсь и сегодня вечером не упущу.

— Да кого же?

Но она, похлопав его по руке, уже направлялась к этому кретину дирижеру. Впрочем, этот идиот вдобавок еще и совершенно бессовестный тип, сразу видно, которому только и надо, что попользоваться ею и ее престижем. Хотя он ее предупреждал, но она только засмеялась и сказала: «Знаешь, он все-таки музыкант», таким же точно тоном — с симпатией и горделиво-извинительно, — каким некоторые евреи говорят о ком-нибудь из своих. Он ощупал свои запонки, золотые с ониксом, ее последний подарок, потом взглянул на часы. Логически, спектакль закончится через полчаса. К счастью. С него уже хватит. И оперы, и музыки, и небесных дуэтов, и всякого такого. Поскорее бы хорошенько развлечься в Монте-Карло. И все же одно сомнение не давало ему оторваться от декораций. «Он», да кто такой этот трижды встреченный «он»? Какой-нибудь старый волокита 30-х, бывший муж? Вообще-то так манерничать совсем не в стиле Какионни. Он дал ей себя выбрать, она его выбрала. Он никогда не устраивал ей сцен ревности, фальшивых,

конечно, но которых стыдишься из-за самой их фальши. Так кто же такой этот «он»?

Она опять возвращалась. Бросила на него слепой взгляд. Положила руку на его ладонь. Покашливала тихонько, ждала. И занавес поднялся, и этот мерзкий дирижеришка поднял свою палочку. Его рабы, все эти крепостные музыканты, поникли к скрипкам своими тупыми, покорными головами. И какое-то стенание поднялось от них, и она перестала его видеть. Была неподвижна, обращена к этой мертвенно-бледной сцене, к этим белым лицам в черноте, к этому толстому тенору, к этому закату жизни, к этим разъездам, ко всем этим штучкам… короче, к этой судьбе, где у него самого была лишь второстепенная роль. И вдруг он это почувствовал, растерялся, покраснел, понял… что неважно: он или кто другой!.. Неважно, что она в два раза старше его и в два раза толще: все эти люди, там, грезили о ней. Миллион мужчин грезили о ней на земле, а о нем, быть может, лишь одна женщина, в Риме. Да и то при некоторой удаче. А ее этим вечером наверняка ждет еще и тот, другой, незнакомец, «он». А он сам, конечно, будет изгнан как паразит, каковым и является, а он сам, конечно, со всей своей силой, красотой и мужской мощью был лишь нудной,

чуть дороговатой интермедией, третьим лишним в этой настоящей истории любви. Он посмотрел на нее и попытался оскорбиться. Почувствовал себя чуть ли не в роли беременной субретки. Но нетерпеливая толпа уже рукоплескала тенору-идиоту и уже, он это чувствовал, ждала ее. Толпа и «он».

— Кто это? — спросил он.

— Кто?

Она смотрела на него своими темными, черными глазами, омраченными чем-то знакомым ему и что было похоже на страх.

— Тот, с кем ты три раза встречалась, помнишь?

— А, — сказала она и тихо засмеялась, с какой-то нежностью.

Дирижер подал ей легкий знак веками. Зал напрягся, он и сам почувствовал, что его собственные нервы натянуты как струны. Она перестала смеяться, повернулась к нему, прикоснулась рукой к его щеке, и на мгновение ему показалось, что вместо этой требовательной, рассеянной и незнакомой ему любовницы он вновь обрел свою мать. Причем мать, которая ему понравилась бы.

– *Он*, — ответила она, — это «контр-ут», «до» верхней октавы, самая высокая нота у Верди,

понимаешь?

Она пристально смотрела на него, а он стоял как истукан. Ему казалось, что запонки, новый смокинг, жемчужины на пластроне, все, что она ему подарила, жгут ему кожу.

— «Ут», — продолжила она тихо, — это вот так.

И она издала, проговорила, пропела этот «ут», очень тихо, нежно, с закрытыми глазами, словно объясняла ему какое-то экзотичное слово.

— Только, — сказала она, — надо держать его тридцать секунд.

Она поправила прическу и подобрала шлейф, потому что ее уже звал дирижер. Вдохнула, беря своего рода разбег, и повернулась к нему.

— И к тому же, — добавила, — его-то уж точно не купишь.

# Снобистская смерть

Все это начало ей надоедать: и место, и любовник. Однако и место, и любовник были модными. Клуб «Снифф» и Курт, красавец Курт. Но хоть ей и нравились красивые мужчины и ночные заведения, сегодня вечером с нее, пожалуй, хватит. После тридцати лет некоторые штампы уже не обязательно удовлетворяют, особенно если они чуточку слишком шумные, как «Снифф», или чуточку слишком сварливые, как Курт. Так что она зевала, а он смотрел на нее в упор.

— Думаешь о Бруно?

Не стоило ей говорить ему о Бруно. Бруно был ее первым мужем, единственным. Ее разрывом. Тем, кого она потеряла почти сознательно, и ей была нестерпима даже сама мысль об этом. Он теперь был далеко. Однако это имя оставалось для нее невыносимым — для нее, про кого думали, что у нее есть все. Огромное состояние, два великолепных дома, обаяние, десять любовников и странный вкус к жизни.

— Оставь Бруно в покое, пожалуйста…

— О, прости! Эти табу!.. Я тебя раздражаю?

Она повернулась к нему. Ее лицо было таким кротким, таким беззащитным, что он испугался. Но слишком поздно.

— Раздражаешь ли ты меня? Да. Я «раздражена». Я больше не хочу тебя видеть, Курт.

Он засмеялся. Туговато он соображал, этот Курт.

— Хочешь сказать, что увольняешь меня? Как своего дворецкого?

— Нет. Я очень дорожу своим дворецким.

Секунду они пристально смотрели друг на друга, потом он поднял руку, чтобы ударить ее. Но она уже была на ногах, танцевала с кем-то другим, и он долго смотрел на свою бесполезно поднятую руку, прежде чем смахнуть два стакана и уйти.

Друзья приняли ее к своему столику. Позже она еще танцевала. На рассвете вышла из ночного клуба последней. Рассвет был прохладный и синеватый, как все весенние рассветы. Ее машина, прекрасное чудовище, ждала перед дверью под присмотром сонного мальчугана, маленького клубного парковщика, привалившегося к капоту в своей лакейской ливрее. Ей тотчас же стало стыдно.

— Я вас заставила прождать всю ночь, — сказала она.

— С этой тачкой я бы и день провел.

Наверное, ему было всего лет пятнадцать-шестнадцать, но его восхищение так бросалось в глаза, что она рассмеялась. Он открыл ей дверцу в тот самый момент, когда задул ветер, свежий, терпкий, первый ветер весны. Ей стало холодно. Она слишком устала, было слишком поздно, она вела идиотскую жизнь. Посмотрела на маленького лакея, тот тоже немного дрожал на ветру в своем смешном костюмчике с бранденбурами. Город в этот час казался пустым.

— Хотите, подброшу вас куда-нибудь?

— Я далеко живу, — сказал он с сожалением, гладя машину рукой. — Возле Штарнберга. Сяду на поезд.

Она поколебалась мгновение. О, в конце-то концов, всего лишь глотнуть чуть больше воздуха на автостраде. А этот бедняжка, этот сонный юноша совсем измучен. Она просто обязана сделать это для него.

— Садитесь, — пригласила она. — Мне в ту сторону.

— Едете на свой конезавод?

И верно, конезавод, лошади утром, манежный галоп, туман в лесу, Бруно… Она не наведывалась туда после их разрыва.

Она поехала через пустынный Мюнхен слишком быстро. Ее пассажир, казалось, был на вершине восторга. Бросал восхищенные взгляды то на ее профиль, то на спидометр.

— Я там неподалеку живу, — говорил он. — Мне только это и нравится: машины и лошади… Хотел стать жокеем, но слишком вырос… Так что паркую машины у клуба. А насколько вы можете разогнаться?

Они выехали на автостраду. Из-за усталости она бы предпочла ехать помедленнее, но что-то в голосе маленького пассажира не оставляло ей выбора. Она нажала на газ, «Мазерати» взвыла, со свистом рванула вперед, потом замурлыкала на скорости около 200 километров в час.

— Мы на двухстах, — сказала она, — это вам подходит?

Паренек засмеялся. Он был настоящим уродцем в этой клоунской униформе, откуда торчали его слишком длинные руки: сказывался возраст гадкого утенка. Должно быть, оба довольно странно выглядели в машине: она в вечернем платье, он в этом маскарадном наряде. Она вытянула руку, включила радио. Красивая музыка то скользила, как автострада под колесами, то, словно ветер, хлестала ее по вискам.

— И вы каждое утро ездите на ваш конезавод?

Она не осмелилась ему сказать, что не была там со времени разрыва с Бруно. Почти два года. Что об этом думает Джимми, старый тренер, который посадил ее в седло, когда она была еще ребенком, а теперь ограничивается лишь отправкой счетов да коротких, неловких и меланхоличных записок?.. Ей вдруг захотелось снова его повидать. Это было совсем рядом. В двадцати километрах от Штарнберга… Она импульсивно повернулась к пареньку:

— Хотите заехать со мной на конезавод? Вам покажут галоп, тренировки…

— О, если вам не трудно, — сказал он, — тогда в самом деле… Эх, вот это ночь!

«Ну что ж, — подумала она, — хоть кто-то счастлив. Я не слишком-то многих смогла сделать счастливыми, даже Бруно, которого любила, даже Курта, которого не любила, ни остальных. Но зато этот счастлив. Пусть хоть на три часа, это уже неплохо».

Так что они обогнули озеро, нырнули в легкий туман и подъехали к конезаводу. Первым, кто подошел открыть им ворота, оказался Джимми, и она увидела его ошеломленный взгляд. Она, в длинном платье, с маленьким лакеем в бранден-

бурах, в шесть часов утра… Выйдя из машины, упала в его объятия. У Джимми было одно из тех худых добродушных лиц, которые бывают только у людей, которые возятся с лошадьми. Она узнала старую твидовую куртку и запах трубки, показавшийся ей чудесным после всех этих ночных сигарет. Странно.

— Госпожа Лаура, — говорил он, похлопывая ее по плечам. — Госпожа Лаура… Наконец-то…

— Это вы, Джимми… А вот… э…

— Гюнтер, — подсказал парковщик. — Гюнтер Браун.

И пожал руку тренеру, в полном восхищении. В стойлах фыркали лошади, люди ворошили сено.

— Пойдемте, выпьете кофе, — предложил Джимми и затащил их в знакомый ей маленький кабинет.

На стене висело фото Лауры и Бруно верхом и другое, где Лаура была одна — смеялась, опираясь о спину Бруно. Она тотчас же узнала белокурый затылок и отвела глаза. И Джимми сделал то же самое.

— Как сейчас дела в конюшне, хорошо?

— Вы должны были получить мои отчеты. Чертовски хорошо! Атос опять, во второй раз, победил в Париже на прошлой неделе, и…

Но она его не слушала. Не могла ему сказать, что не читала его отчеты уже два года, что моталась с другими бедными людьми, такими же богатыми, как она, от Мексики до Капри, завернув по пути на Багамы. Просто так. Чтобы забыть Бруно. И теперь ей это удалось, что и было хуже всего.

— Вот посмотрите галоп, — говорил Джимми. — Есть там один жеребеночек!.. Сын Марика… Великолепный Дэвил.

— В таком виде?

И она показала на свое вечернее платье. Но уже не смеялась. Сон валил ее с ног… Фото, на котором она была с Бруно, ее раздражало.

— Галоп? Настоящий галоп?

Ишь ведь… Маленький парковщик проснулся, и его глаза блестят от вожделения. Что за ночь!..

— Ваши вещи по-прежнему там, наверху, — сказал Джимми. — И рейтузы, и сапоги… Чтобы посмотреть галоп, даже по грязи, этого достаточно.

Оба умоляюще уставились на нее. Одному было шестьдесят, другому семнадцать, но этот детский взгляд у мужчин всегда загонял ее в угол… Ладно, в конце концов, она переоденется, взглянет на галоп и уедет. Очень хорошо. Однако в комнате наверху, натягивая сапоги, она была вынуждена

остановиться на секунду из-за сердцебиения — внезапно лишившись сил, на грани тошноты… Решительно, она слишком много пила в последнее время…

Они сели в старенький джип Джимми и отправились на встречу. Лошади уже ржали, от их крупов на фоне серо-зеленых, наполовину тронутых весной деревьев поднимался пар. А перед ними тянулась дистанция — длинная, трехкилометровая полоса утоптанной земли. Теперь она вспомнила все: возбуждение перед подъемом в седло, общий старт, оглушительный грохот галопа и неумолимый стук копыт, от соседа к соседу… И земля, летевшая в лицо, и страх, и восторг… Она делала это с Бруно, правда, и не так уж давно.

— У меня для вас сюрприз, — заявил Джимми. — Вот он, выходи, малыш.

Перед ней стоял великолепный, совершенно черный жеребец, и она тотчас же поняла: это и есть Дэвил, сын Марика. Он смотрел на нее, и все маленькие конюхи смотрели на нее, и Джимми, и парковщик смотрели на нее.

— Хочу, чтобы вы его опробовали, — сказал Джимми. — Как в добрые старые времена.

Она испугалась, ужасно испугалась. Они-то ничего об этом не знали, не знали о ночах за вы-

пивкой, обо всяких глупостях, понятия не имели ни об этой утренней усталости, ни об этой дрожи в руках, в костях. Это было несправедливо. Она пробормотала:

— Джимми, я два года не ездила верхом.

— Ну что ж, Дэвил вернет вас в седло.

Он смеялся. Ах, мужчины, со всей их физической силой, со всей их уравновешенностью порой бывают… Но у них есть также этот взгляд… Восхищение, уже безудержное, в глазах маленького парковщика, непоколебимое доверие в глазах Джимми. Она шагнула к Дэвилу, положила руку ему на шею и почувствовала, как он трепещет, словно между ними уже был заключен договор. Джимми подставил ей обе руки, и она оказалась в седле. Ее сердце стучало слишком сильно, почти заглушая слова Джимми.

— Прямо вперед… Так, хорошо… Пошли!..

И освобожденные наконец кони понеслись в утреннем ветре. Она сразу же поняла, что это закончится плохо, преодолела сто, потом двести метров сквозь летевшие в лицо комья грязи и была почти благодарна земле за это последнее прости. Наконец потеряла сознание среди апокалипсического топота, тихо соскользнула с седла и получила копытом Дэвила прямо в лоб.

# Рыбалка

Эту весну мы провели в Нормандии, в моем роскошном доме, тем более роскошном, что после двух лет затоплений наконец починили крышу. Внезапное отсутствие тазов под балками и ледяных капель по ночам на наших кротких, спящих лицах, отсутствие губчатого ковра под нашими ногами было упоительным. Мы решили покрасить ставни, которые из рыжих превратились в грязно-коричневые, потом в серо-коричневые, а потом, отчаявшись, повисли на окнах вкривь и вкось, как знамена. Это удачное решение имело неисчислимые последствия, как психологические, так и спортивные.

Вот они.

Разумеется, и речи быть не могло обратиться к славному местному маляру, чтобы тот весело явился со своей насвистывающей бригадой и за два дня покрасил эту дюжину несчастных ставней. Нет. Подруга одного нашего друга (когда я говорю «мы», то имею в виду завсегдатаев этого дома, составляющих крайне закрытый клуб, который стоит особняком среди прочих,

зараженных практическим духом), итак, подруга одного нашего друга знала одного художника, крайне интеллигентного, очень одаренного югослава, который занимался «этим», чтобы заработать себе здесь на жизнь после множества политических передряг, которых во Франции не бывает. Короче, это решение было одновременно экономическим — поскольку всем известно, что местные этим «пользуются», — и моральным, поскольку Яско — это было его имя — сидел в тот момент немного на мели. Так что да здравствует Яско! Он должен был приехать со своим собственным другом, тоже живописцем, и своей молодой женой, которая иначе заскучала бы в Париже. Они прибыли все втроем и оказались очаровательными, словоохотливыми, влюбленными в телевидение людьми. В общем, чудесные гости. И ставни потихоньку, без особой спешки, становились великолепны.

Не знаю почему, но в один роковой день беседа после трех недель неослабного интеллектуализма вдруг свернула на рыбалку. Яско был заядлым рыболовом и хранил о своих югославских рыбалках изумительные воспоминания. Что до меня, то я, выловив в десятилетнем возрасте трех плотвичек из речки моей бабушки, а потом как-то

пьяной ночью и по нелепейшей случайности дораду в бухте Сен-Тропе, весело щебетала о рыбалке со спиннингом на муху и уж не знаю о чем там еще. Мы горячились, ставки росли. Франк Бернар, писатель и друг, обычно склонный порассуждать о Бенжамене Констане и Сартре, вдруг обнаружил в своем школьном детстве форель. Короче, на следующий день мы уже оказались в магазине рыболовных принадлежностей, на полном серьезе обсуждая наживку, крючки, грузила и удилища. Сидя у камелька, все втроем изучали календарь приливов и отливов. По утверждениям Яско, рыбу надо было атаковать в самом конце прилива. Один таковой ожидался в совершенно неподобающее для нас время, другой — в одиннадцать тридцать утра. На нем-то мы и остановили свой выбор, и к полуночи, в порядке исключения, все уже были в постели и видели сны о рыбе.

Мы, разумеется, совершенно забыли, что Нормандия — область здоровая и спокойная, где практикуют лишь несколько общедоступных видов спорта: это верховая езда, теннис, пешие прогулки по дощатым мосткам вдоль пляжей и еще баккара — если сердце надежное. Раз никто из наших знакомых не удил, значит, на то была причина. Но о таких вещах никогда толком не

думают. На самом деле я хотела поразить мадам Марк, сторожиху, которая ухмылялась, слыша о наших планах, а у Франка, наверное, был легкий хемингуэевский комплекс.

Итак, в то утро под проливным дождем мы погрузили в машину свои удилища и земляных червей плюс — о насмешка! — корзину для улова. Засунуть удочки через окна оказалось не так-то легко, и машина стала смутно похожа на подушечку для булавок. Франк наполовину спал, мы с художником ликовали. Пляж оказался враждебным, пустынным, ледяным.

С самого начала возникло несколько трудностей при насадке червей на крючки. Франк утверждал, что его печень такое не выдержит, я же приняла глуповатый и неуклюжий вид человека, не умеющего сносно насадить червяка. Яско со всем этим справился. Потом торжественно поднял руку и забросил свою удочку. Мы внимательно за ним наблюдали, чтобы поскорее перенять его технику (я уже, кажется, говорила, что история с моей дорадой не оставила у меня никаких четких воспоминаний). Раздался посвист, и крючок упал к ногам Франка. Яско проворчал что-то насчет югославских спиннингов — похоже, намного превосходящих французские

— и повторил попытку. Увы, Франк услужливо нагнулся, чтобы поднять крючок, и Яско лихим движением тотчас же всадил его Франку в подушечку большого пальца. Франк изрыгнул несколько ужасных ругательств. Я бросилась вытаскивать крючок с червяком из его бедного пальца и наложила ему жгут из своего носового платка. Тут мы на пять минут отдались дьявольской пантомиме, крутя удилищами над своими головами, тщетно пытаясь забросить эти проклятые лески в воду и сматывая их обратно на бешеной скорости, чтобы приступить к новой попытке — в общем, трое сумасшедших.

Должна добавить, что ради этого упражнения мы разулись и, тщательно закатав штанины, сложили маленькую кучку из нашей обуви, носков, даже наручных часов в нескольких шагах у себя за спиной. Веря расписанию приливов и отливов и еще не представляя себе вероломства Ла-Манша, мы, таким образом, весело шлепали по мокрому песку без всякой задней мысли. Франк первым заметил драму: его правый башмак обошел своего хозяина, если осмелюсь так выразиться, и достиг моря. Франк погнался за ним, не переставая ругаться, а тем временем и его левый башмак вместе с носками Яско преодо-

лел гребень волны. Настал момент неописуемой паники: мы тотчас же кинулись вдогонку за нашими вещами, побросав удочки. Чем они и воспользовались, чтобы в свой черед довериться волнам. А лишенные надзора черви невозбранно проплавали добрых десять минут, чего им хватило, чтобы исчезнуть. Мы потеряли один башмак, два носка, пару очков, пачку сигарет и один из наших спиннингов. Два же остальных были окончательно запутаны. Дождь лил все пуще. Прошло ровно двадцать пять минут, как мы, торжествуя, высадились на этом пляже, и вот теперь оказались вконец промокшими, ошалевшими, ранеными и разутыми. Яско смущался под нашими взглядами. Попытался распутать свою удочку. Франк сел поодаль, молчаливый, презрительный. Время от времени сосал свой палец или обхватывал босую ногу руками, чтобы согреть… Я пыталась выловить нескольких выживших червяков. Мне было холодно.

— Думаю, на сегодня хватит, — заявил вдруг Франк.

Он встал и с достоинством (тем более похвальным, что весь кипел) направился к машине и рухнул внутрь. Я последовала за ним. Яско подобрал две оставшиеся удочки, не переставая

отдаваться бесполезным и смущенным рассуждениям о предпочтительности югославских берегов в отношении рыбалки и Средиземного моря в отношении приливов-отливов. В машине пахло мокрой псиной. Сторожиха обошлась без комментариев, что вполне характеризует запечатлевшийся на наших обычно жизнерадостных физиономиях полный провал экспедиции.

С тех пор я больше не удила рыбу в Нормандии. Яско в конце концов докрасил ставни, после чего исчез. Франк купил себе пару новых башмаков. Мы никогда не станем спортсменами.

# Смерть в сандалиях

Люк хорошенько побрился, даже не порезавшись. На нем был бежевый, такой элегантный костюм из сурового полотна, привезенный из Франции его чудесной женой Фанни, и он, сидя за рулем открытого «Понтиака», ехал на студию «Уондер систерс». Даже насвистывал, несмотря на легкую зубную боль, причины которой не знал.

Уже десять лет Люк Хаммер играл роль Люка Хаммера, то есть был: а) блестящим исполнителем вторых ролей, б) верным супругом своей европейской жене, в) хорошим отцом своим троим детям, г) превосходным налогоплательщиком и при случае хорошим собутыльником. Умел плавать, пить, танцевать, извиняться, заниматься любовью, дефилировать, выбирать, брать, принимать. Ему было всего сорок лет, и его находили крайне симпатичным на всех телевизионных экранах. Вот так, с безмятежностью на челе, он подъехал этим утром к Беверли-Хиллз, четко двигаясь прямо к роли, которая была указана ему собственным агентом и которой Майк Генри, хозяин «Уондер систерс», по всей вероятности,

его удостоит. У них была назначена встреча, все как положено. На большом перекрестке Сансет-бульвара он даже заколебался, стоит ли закурить сигарету с ментолом, которой привык баловать себя по утрам, настолько ему казалось, что и земля, и небеса, и солнце, и светофоры — все были согласны помочь ему, чтобы он продолжал. Продолжал обеспечивать кетчупом, стейками и билетами на самолет детей, жену, виллу и сад, которые выбрал себе раз и навсегда десять лет назад (одновременно со своими христианскими именем и фамилией: Люк Хаммер). А вдруг у него от этой сигареты разовьется одна из тех ужасных неизлечимых болезней, о которых в 75-м году говорили все газеты? Быть может, эта сигарета станет последней каплей, которая переполнит какой-нибудь не известный ни медикам, ни ему самому сосуд? Эта мысль удивила его на секунду, поскольку показалась оригинальной, а он не привык иметь оригинальные мысли. Несмотря на свою привлекательную внешность и спокойную жизнь, Люк Хаммер был человеком простым. Он даже долго считал себя закомплексованным, если не пришибленным, пока один психиатр, оказавшийся глупее других, или безумнее, или честнее, не открыл ему, что он чувствует се-

бя очень хорошо. Этого доктора звали Роланд. Впрочем, он был алкоголиком, и Люк улыбнулся при этом воспоминании, почти бессознательно выбросив едва начатую сигарету в окошко. Какая досада, что жена его не видит. В самом деле, Фанни беспрестанно твердила ему, чтобы он был поосторожнее с выпивкой, с куревом да и с любовью, разумеется. Любовь, в общем физическая любовь, была почти исключена из их отношений, с тех пор как Люк обнаружил у себя (точнее, это сделал врач Фанни) начатки тахикардии, которая, хоть и не была опасной, могла доставить ему неудобства. В вестернах, например, или в этих фильмах с прекрасными скачками, где он собирался сниматься и сниматься в ближайшие годы. В конечном счете Люк довольно дурно воспринял этот запрет, этот своего рода сухой закон в сентиментально-чувственной области, но Фанни очень настаивала, неустанно повторяла и растолковывала, что они, конечно, были любовниками, и довольно пылкими любовниками, уточняла она (и когда она это уточняла, какое-то блаженное и внушавшее сомнение беспамятство наполняло мозг Люка), но теперь он должен уметь отказываться от некоторых вещей и быть в первую очередь отцом Томми, Артура и Кевина,

которые хоть и не знают об этом, но нуждаются в нем, чтобы выжить. В нем, с его размеренно бьющимся сердцем — постоянно, классически, пунктуально, неизменно, словно маленькая электронная машинка, вот и все. Его сердце уже не было этим голодным, жадным, измученным зверем, уже не колотилось бешеным набатом, выстукивая и панику, и счастье меж двух мокрых от пота простыней, его сердце отныне стало не чем иным, как средством спокойно качать кровь по спокойным же артериям. Спокойным, как некоторые улицы в некоторых городах летом.

Конечно, она права. И сегодня утром Люк был особенно счастлив быть самим собой, счастлив, что может скакать на несущихся галопом конях перед объективами камер, может проходить пешком много километров, может вскарабкиваться по 25-градусным склонам под палящим солнцем и даже (если бы захотел и потому что сейчас это в моде) может изображать оргазм с какой-нибудь старлеткой на глазах у полусотни техников, столь же холодных, как и он сам. Он был от этого даже в восторге.

Оставалось проехать всего несколько кварталов, потом он повернет направо, потом налево, потом въедет в большой двор, оставит свой

«Понтиак» старому Джимми и, после всех классических и ритуальных шуток, подпишет со старым добрым Генри контракт, подготовленный его импресарио. Вторая роль, разумеется, но очень хорошая вторая роль, одна из тех вторых ролей, секретом которых, как говорят, он обладает. Странное выражение, если вдуматься: вечно обладать секретом ролей без всякого секрета. Он вытянул руку и залюбовался, в общем поймал себя на том, что любуется, до чего же она хороша — отлично наманикюренная, чистая, четкая, загорелая, мужественная, — и опять возблагодарил Фанни. Благодаря ей два дня назад его подстригли и сделали ему маникюр на дому, так что именно ее стараниями у него сейчас не слишком длинные волосы и не слишком короткие ногти, все совершенно уравновешено. Может, у него просто мысли слишком короткие.

И эта фраза как громом поразила Люка Хаммера. Вдруг наполнила его вены словно ядом, цианидом или ЛСД: «Короткие мысли». «Неужели у меня короткие мысли?» И машинально, будто получив удар, он остановился у правой обочины и выключил зажигание. Что это значит, короткие мысли? С ним знакомы умные люди, даже интеллектуалы, и писатели тоже, и все они гордятся им.

Однако это выражение, «короткие мысли», будто застряло меж бровей, вызвав в точности такое же ощущение, как двадцать лет назад на пляже под Гонолулу. Он тогда еще служил в морской пехоте и однажды застал свою подружку в объятиях своего лучшего приятеля. Тогда в том же самом месте и с той же самой силой свербила его ревность. Он попытался «увидеть себя со стороны», обычным жестом наклонил зеркало заднего вида и взглянул. Это точно был он, красивый и мужественный, только тонюсенькая сеточка красных прожилок в его глазах свидетельствовала, как он знал, об одной-двух лишних бутылках пива, выпитых накануне перед сном. Под этим палящим солнцем Лос-Анджелеса, в своей бледно-голубой рубашке, в своем бежевом, почти белом костюме вкупе с узорчатым галстуком и этим легким загаром, приобретенным отчасти на море, а отчасти под великолепными аппаратами, которые открыла Фанни, он был просто воплощением здоровья и душевного равновесия и знал это.

Тогда что же он тут делает, остановившись как дурак у этого тротуара? Почему тогда не осмеливается опять запустить мотор? Почему вдруг начитает потеть, мучиться от жажды и страха? И почему вдруг вынужден сопротивляться это-

му позыву упасть в машине поперек сидений, помять свой прекрасный костюм, кусать себе кулаки? (И кусать до крови, до собственной крови, чтобы ощутить наконец боль по реальной причине. По конкретной причине хотя бы…) Он вытянул руку и включил радио. Пела женщина, быть может, чернокожая. Впрочем, даже наверняка чернокожая, поскольку что-то в ее голосе чуточку его успокаивало, а он знал по опыту: обычно чернокожие женщины, точнее, их голоса, потому как сам-то он, слава богу, никогда не вступал с ними в физический контакт (и вовсе не из-за расизма, а как раз из-за отсутствия расизма), короче, обычно именно голоса чернокожих женщин, медовые и хрипловатые, давали ему ощущение душевного комфорта. И как ни странно, одиночества. Они его изменяли, очевидно, потому, что с Фанни и детьми он был всем, чем угодно, но только не одиноким. Но было в этих голосах и нечто такое, что пробуждало в нем, конечно, и чувства подростка, былую смесь неудовлетворенности, покинутости, страха. Женщина пела немного подзабытую, немного вышедшую из моды песню, и он поймал себя на том, что с какой-то тревогой, близкой к панике, пытается вспомнить слова. Может, ему стоит опять повидаться со своим пси-

хиатром-алкоголиком, а заодно сделать полное медицинское обследование — после предыдущего прошло уже три месяца. Да и Фанни говорит, что ему в самом деле надо поберечься. Что жизнь на нервах, конкуренция и напряжение в его профессии — отнюдь не пустые слова. Да, он сделает электрокардиограмму, но пока ему надо стронуть с места машину, стронуть с места Люка Хаммера, свою вторую роль, своего двойника, себя самого, он уже и сам не знал что, но непременно стронуть с места. И доставить все это на студию. Впрочем, она недалеко.

«What are you listening to? — пела женщина по радио. — Who are you looking for?»[1] И, боже, ему не удавалось вспомнить продолжение. Ему очень хотелось вспомнить слова и забежать вперед, только ради того, чтобы он смог выключить радио, но память буксовала. Хотя ведь он знал ее, сам пел эту песню, знал наизусть. В конце концов, ему уже не двенадцать лет, не в его стиле застревать на обочине из-за слов какого-то старого блюза, в то время как у него встреча ради важного контракта, и опоздание — во всяком случае, когда дело касается вторых ролей — не

---

**[1] Примечания: 1**

Что ты слушаешь? Кого ты ищешь? *(англ.)*

приветствуется в славном городе Голливуде.

Сделав усилие, которое показалось ему непомерным, он снова вытянул руку, чтобы выключить радио, «убить» эту поющую женщину, которая могла бы быть, подумал он в каком-то бреду, могла бы быть его матерью, женой, любовницей, дочерью. И, делая это самое усилие, вдруг осознал, что промок насквозь, что его прекрасный бежевый костюм, манжеты, руки залиты ужасным потом. Он был практически мертв и понял это в одну секунду, удивившись, что не испытывает ни волнения, ни даже физической боли. Женщина продолжала петь, и он невольно уронил свою мужественную руку с маникюром на колено и, словно в какой-то задумчивости, без всякой тревоги, стал ждать неизбежной смерти.

— Надо же! Эх, это ведь надо же… Сожалею.

Кто-то пытался с ним говорить, еще было на земле какое-то человеческое существо, которое делало усилие ради Люка Хаммера, однако, несмотря на свою вежливость и обычно добрый нрав, он не нашел в себе мужества повернуть голову. Шаги приближались, очень мягкие. Это было странно, разве смерть может носить сандалии? А потом рядом с ним вдруг возникло красное квадратное лицо, очень черные волосы

и прозвучал голос, очень громкий — как ему показалось, во всяком случае, перекрывавший голос той чужой, знакомой женщины по радио.

Он услышал наконец:

— Сожалею, старина, но я не видел, что вы тут остановились, а моя поливальная установка уже была включена, из-за бегоний… Вымокли, да?

— Пустяки, — отозвался Люк Хаммер и на секунду закрыл глаза, потому что тот вонял чесноком, — пустяки, это меня скорее освежило. Так, значит, это ваша поливальная установка… меня?..

— Ну да, — сказал чесночный человек, — это новая система, с чертовски мощным ротором. И я могу включать ее прямо из дома. Тут никого не было, вот я и не остерегся…

Он посмотрел на промокший костюм и, видимо, счел Люка приличным человеком. Конечно, он его не узнал; люди никогда сразу его не узнавали. Узнавали потом, когда им говорили, что в таком-то фильме это как раз он был тем, кто… Впрочем, Фанни очень хорошо объясняла людям, почему они узнавали его только *потом*…

— Короче, — заключил тип, — я сожалею, а? Хотя, кроме шуток, какого черта вы тут делали?

Люк поднял на него глаза, потом быстро их опу-

стил. Ему было стыдно: он и сам не знал почему.

— Так, пустяки, — ответил он. — Остановился, чтобы закурить сигарету. Ехал на студию, знаете, тут рядом, а прикуривать за рулем опасно, глупость в общем-то, я хочу сказать…

Тут чесночный человек отступил на шаг и расхохотался:

— Ну дела! Если единственное, чем вы рискуете в жизни, это закурить или чтобы вас водой окатило… то вы не очень-то многим рискуете! Верно? В общем, еще раз извините.

И он крепко похлопал ладонью, но не по плечу Люка, а по машине и удалился. И тогда мрачная, нехорошая, необоримая ухмылка появилась на лице Люка. «Вот он я — ничего уже не делаю, даже любовью не занимаюсь и даже умереть не способен, хотя из-за садовой поливалки всерьез решил, будто умираю… Вот он я, промокший, еду добиваться в Голливуде роли ассистента ковбоя. Я и впрямь смешон». Но в этот самый момент, в последний раз взглянув на себя в зеркало заднего вида, он увидел, что его глаза полны слез, и вспомнил слова песни, которую пела эта черная или белая женщина. И понял, что у него и вправду отменное здоровье.

Пять месяцев спустя и по неизвестным причи-

нам Люк Хаммер, до этого спокойный фигурант студии «Уондер систерс», перебрал с барбитуратами в комнате какой-то заурядной проститутки по вызову. Никто так и не понял почему, наверняка даже он сам. Кажется, его жена и трое детей держались на похоронах с великолепным достоинством.

# Левое веко

«Мистраль» — не ветер, поезд — мчался по равнине. Сидя у одного из окон, так похожих на иллюминаторы, потому что поезд был закрыт, заблокирован и почти наглухо закупорен, леди Гаретт твердила себе, в который раз за тридцать пять лет, что предпочла бы жить в одном из этих скромных или пышных домиков, обрамляющих Сену перед Мелёном. Логичное рассуждение, потому что жизнь у нее была бурная, а всякая бурная жизнь мечтает о спокойствии, детстве и рододендронах. Точно так же, как любая спокойная жизнь грезит о водке, шумной музыке и разврате.

Леди Гаретт «сделала карьеру», как это называют в светской хронике и душещипательных книжонках. В тот день, любуясь ленивыми берегами Сены, она тешила себя приготовлением фраз, которые намеревалась сказать по прибытии в Лион своему любовнику Шарлю Дюрьё, комиссару-оценщику: «Мой дорогой Шарль, это было дивное приключение, даже экзотичное для меня в силу его незначительности, но, надо

признать, мы не созданы друг для друга…» И тут Шарль, дорогой Шарль покраснеет, залепечет, а она протянет ему царственную руку в баре отеля «Руаяль», с которой он не сможет сделать ничего иного, кроме как облобызать, — и исчезнет, оставив после себя волны взглядов, тающий аромат духов, медленные ритмы, воспоминания… Бедный Шарль, дорогой Шарль, такой преданный со своей бороденкой… Красивый мужчина, впрочем, мужественный, но ведь лионский комиссар-оценщик! Он и сам должен был сообразить, что это не могло тянуться долго. Чтобы она, Летиция Гаретт, урожденная Иствуд, по очереди побывавшая замужем за актером, турецким агой, фермером и президентом — генеральным директором, могла сознательно закончить свою жизнь с комиссаром-оценщиком!.. Она покачала головой. Это длилось всего секунду, но она тотчас же спохватилась, поскольку по-настоящему терпеть не могла эти машинальные движения, которые одинокие женщины — а впрочем, и одинокие мужчины — делают в жизни, на улице, повсюду, молча отмечая ими свои внутренние решения. Слишком часто видела эти вздергивания подбородка, сдвигания бровей, рубящие движения рукой, которые всегда выдают одиночек, каким

бы ни было их душевное состояние или социальная принадлежность. Она взяла пудреницу, на всякий случай припудрила нос и опять перехватила взгляд молодого человека, сидящего двумя столиками дальше. Этот взгляд с самого отправления от Лионского вокзала подтверждал ей, что она по-прежнему красивая, неуловимая и нежная Летиция Гаретт, недавно пережившая развод с лордом Гареттом, который все еще сердечно ее поддерживает. Впрочем, забавно было думать, что все мужчины, которые так ее любили, так ею гордились и так ее ревновали, в итоге никогда не сердились на нее за то, что она их бросила, и всегда оставались ей добрыми друзьями. Она сделала из этого повод для гордости, хотя, в сущности, все они, быть может, втайне испытали облегчение, что уже не будут делить с ней ее вечные метания… Как говорил Артур О'Конноли, один из самых богатых ее любовников: «Покинуть Летицию можно не раньше, чем она сама вас покинет!» Этот мужчина был богат, но поэтичен. Упоминая о ней, говорил: «Летиция — это навек резеда, нежность, детство». И эти три слова всегда задевали женщин, которые были в жизни Артура после нее.

Меню оказалось довольно объемистым. Она

рассеянно его полистала и обнаружила что-то ужасающее, где явно были намешаны тертый сельдерей под соусом провансаль, исторические морские языки и революционное жаркое плюс воздушный пирог из картофеля, сыры на скорую руку и ванильное мороженое в виде бомбы из папье-маше. Странно, в поездах теперь все меню выглядели наполовину Оливе[2], наполовину Мишле[3]. Она улыбнулась на мгновение, подумав, что однажды наткнется на гильотинированный морской язык или что-нибудь столь же глупое, потом бросила вопросительный взгляд на сидевшую напротив старую даму. Та явно ехала до самого конца, домой, в Лион. Вид у нее был кроткий, слегка смущенный и самый что ни на есть порядочный. Летиция передала ей меню, и дама тотчас же кивнула, разулыбалась и вернула ей меню с множеством любезных и скромных ужимок, которые дали понять Летиции, до какой степени она вопреки времени по-прежнему

**[2] Примечания: 2**

Оливе Реймон (1904–1990) — владелец и шеф-повар парижского ресторана «Гран Вефур», известнейший популяризатор французской кулинарии, четырнадцать лет (с 1953 г.) вел первую в этом роде телевизионную передачу «Искусство и магия кухни».

**[3] Примечания: 3**

Мишле Жюль (1798–1874) — выдающийся французский историк; среди его трудов «История Франции», «История Французской революции» и др.

выглядит типичной англосаксонкой. «После вас, — сказала дама, — после вас…» «О нет, я… Ну что вы, — слабо запротестовала Летиция, чувствуя, что ее акцент, как всегда в таких случаях, удваивается. — О нет… Как вы полагаете, дыня хорош?» «Хороша», — подсказал ей автоматически внутренний голос, но слишком поздно. Из-за этой грамматической ошибки на губах старушки напротив уже появилась снисходительная улыбочка, и поправиться самой Летиции не хватило мужества. Она испытала от этого некоторую досаду, но потом сразу же сказала себе, что довольно глупо с ее стороны нервничать из-за такой мелочи и уж лучше бы она подумала о том, как начнет свою речь к Шарлю через три часа. Грамматика в этих страстных речах совершенно ни при чем, самое большее, что тут можно сказать, — согласно ее теперь уже довольно долгому опыту во французском — это что место слов совершенно меняет фразу. Так, между обращенными к мужчине словами «Я вас очень люблю» или «Я очень вас любила» и «Я всегда буду вас любить» или «Я вас буду любить всегда» простирались целые миры, страстные, непонятные, с которыми ей самой было необычайно трудно разобраться, как в чувственном, так и в грамматическом плане.

Решительно, этот поезд мчался с безумной быстротой. Ей показалось, что она совершит своего рода благое дело, окажет любезность целому вагону, если пойдет подкраситься, помыть руки и причесаться, прежде чем ей принесут стейк фламбе, гильотинированный морской язык и бомбу-мороженое с уже вынутой чекой, которым предстояло стать на ближайший час ее уделом. Она обратила к лионской старушке легкую улыбку и своей столь знаменитой — хотя, надо признаться, довольно беспорядочной в этом покачивающемся вагоне — походкой направилась к автоматической двери, застекленные створки которой немедленно раздвинулись, после чего почти непроизвольно устремилась налево, к туалету. Поспешно повернула защелку. Вот он, прогресс, скорость, тишина, очень хорошо! Но на самом деле, чтобы просто пересечь купе между Парижем и Лионом в 1975 году, требовались стальные мускулы, навыки тирольки и зрение эквилибриста. Она вдруг с завистью подумала об астронавтах, которые без всяких толчков и рывков долетали до Луны, выходили там без всяких проблем с гардеробом и возвращались: бултых в воду, откуда их быстренько вылавливали веселые и восторженные моряки. Но ее-то по прибытии

поезда ожидают не веселые, восторженные моряки, а ревнивый, угрюмый комиссар-оценщик, к тому же имеющий все основания быть таковым, поскольку она, в конце концов, предприняла эту стремительную и ухабистую поездку единственно ради того, чтобы порвать с ним.

В этом стерильном, уродливом, цвета хаки месте оказалось еще хуже, чем в вагонах, которые со своей простенькой репсовой обивкой, гвоздичками в вазочках и старомодностью старались, по крайней мере, выглядеть кокетливо. Раковина была круглая, поэтому она уцепилась одной рукой за кран, а другой попыталась открыть свою переполненную сумочку. Поскольку поезд как раз подъезжал к Дижону, где делал остановку, сработали тормоза, и вследствие этого сумочка, оказавшись перед роковым выбором: подчиниться воле хозяйки или движению Фарадея — и раздираясь между двумя разнонаправленными силами, не выдержала, раскрылась, и ее содержимое рассыпалось по полу. Так что леди Гаретт оказалась ползающей на четвереньках, беспрестанно стукаясь головой о края раковины, а также прочие выступы и подбирая тут губную помаду, там чековую книжку, сям свою пудреницу и билеты. А когда она, слегка осененная по́том,

поднялась с колен, поезд уже вполне смирно стоял в Дижоне. При некотором везении она располагала двумя-тремя минутами, чтобы спокойно, не устраивая пантомиму в духе Марселя Марсо, подкрасить глаза.

Разумеется, именно тушь оказалась единственной вещью, которая не выскочила из сумочки, и она лихорадочно искала ее десять секунд, пока не наткнулась. Начала с левого века. Впрочем, левый глаз был ее любимым. Бог знает почему, но все ее любовники, все мужья всегда предпочитали ее левый глаз правому, о чем ей немедленно и сообщали. «Он, — утверждали они, — нежнее правого». И Летиция всегда мило, спокойно принимала, что слева она лучше, чем справа. Хотя, если вдуматься, люди отсылают вам странный образ вас самих. О венерином бугре на ее ладони, а стало быть, о ее чувственности ей всегда сообщал мужчина, оставлявший ее холодной. О том, что она веселая, всегда сообщал мужчина, наводивший на нее тоску, и, что еще печальнее, эгоисткой называл ее всегда именно тот мужчина, которого она любила.

Поезд тронулся мощным рывком, заставившим ее пошатнуться и тем самым перечеркнуть себе щеку сверху донизу полосой черноватой туши.

Она мысленно выругалась по-английски и тотчас же рассердилась на себя за это. Ведь она, в конце концов, собиралась встретить и бросить своего французского любовника. Странствуя по всему свету, леди Гаретт усвоила привычку размышлять, думать, даже страдать на языке своих любовников. Так что она заменила, причем вслух, свое английское ругательство другим, с тем же смыслом, но чисто французским, закрыла футлярчик с тушью, засунула его в сумочку и решила, что лионская старушка вполне стерпит напротив себя женщину с лишь одной подкрашенной бровью. Слегка расчесала волосы и попыталась выйти.

Попыталась, но не смогла. Дверь сопротивлялась. Она улыбнулась, подергала защелку, подергала дверь и была вынуждена признать, что там что-то заело. Ей вдруг стало смешно. У самого современного и самого скоростного поезда во Франции оказался легкий изъян в запорном устройстве. Но после шести-семи одинаково безрезультатных попыток она ошеломленно признала, что за стеклом маленького левого иллюминатора продолжает разворачиваться пейзаж, что ее сумочка закрыта, и хорошо закрыта, что она сама готова пойти и съесть наконец свое прокля-

тое меню, однако между нею и ее ближайшим, хоть и вполне безобидным будущим встряла эта дверь. Она снова подергала за ручку, потрясла, и в ее душе, словно лава, заклокотал гнев — ребяческий, смешной, с привкусом клаустрофобии, хотя ничем таким она не страдала. Слава богу, всю свою жизнь она избегала этих современных маний: клаустрофобии, нимфомании, мифомании, наркомании и посредственности. Ну, по крайней мере, так считала. И вдруг сама — она, Летиция Гаретт, привезенная в это прекрасное сентябрьское утро собственным шофером на Лионский вокзал, ожидаемая в Лионе своим верным любовником, — оказалась запертой в вагонном туалете, где она, ломая ногти и выходя из себя, барабанила в дверь из отверделого пластика, которая не хочет уступить ее пожеланиям. Поезд теперь ехал очень быстро, и ее так трясло, что, когда первый миг гнева миновал, она смирилась с худшим, то есть с ожиданием, и, стыдливо опустив крышку унитаза, уселась на нее, соединив коленки, эдакой внезапно целомудренной девой, какой никогда не предстала бы в набитых мужчинами салонах. Из-за чувства смешного, быть может. Она увидела себя в зеркале, точнее, переглянулась сама с собой: сумочка прижата

к коленям, будто там все ее состояние, волосы растрепаны, один глаз накрашен. К своему великому удивлению, она заметила, что ее сердце сильно бьется, как не билось уже давно ни из-за бедняги Шарля, который ее ждет, ни из-за бедняги Лоуренса (этот был как раз перед тем), который, слава богу, ее уже не ждет. Однако придет же сюда кто-нибудь и автоматически откроет дверь снаружи. К несчастью, все эти люди как раз обедают, а французы никогда не встают из-за стола, что бы ни стряслось; прикованы к своим кушаньям, к хождениям туда-сюда метрдотелей, к своим милым бутылкам. Никто из них не дерзнет пошевелиться во время этой неумолимой церемонии, этой услады повседневностью. Она нажала на педаль спуска воды, дважды, забавы ради, потом решила, по-прежнему глупо и с достоинством сидя на унитазе, что попытается уравновесить свой правый глаз со своим левым. Чудесная скорость поезда позволила ей посвятить этому уравновешиванию добрых десять минут. Теперь ей хотелось пить, и она практически была голодна. Вновь попытала дверь робкой рукой, но по-прежнему тщетно. Ладно, не надо нервничать, надо подождать, пока люди из соседних купе, справа, слева, или контролер, или официант, или еще

кто-нибудь решат воспользоваться этим местом, и она сможет тогда вернуться на свое, усесться напротив пожилой дамы из Лиона и спокойно приготовить свой спич для Шарля. Впрочем, раз уж она здесь и напротив зеркала, то почему бы не потренироваться? Она пристально посмотрела в свои большие темные глаза, на свои темные волосы в маленьком, не слишком оптимистичном зеркальце SNCF[4] и начала:

«Шарль, дорогой мой Шарль, если я говорю вам сегодня эти жестокие слова, то лишь потому, что я слишком ветрена, слишком непостоянна и что там еще, из-за чего сама страдала всю жизнь и заставляла страдать других, помимо вас. А я слишком ценю вас, Шарль, чтобы даже вообразить себе ужасные сцены, которые у нас с вами случатся очень скоро, если я, откликнувшись на вашу столь нежную просьбу, соглашусь выйти за вас замуж».

Слева в иллюминаторе вдоль зеленых и красновато-коричневых холмов тянулись ряды снопов, похожих на золотистые кегли, и она почувствовала, как ее понемногу распирает волнение, вместе со словами:

---

**[4] Примечания: 4**
Национальная компания железных дорог.

«Потому что вы, в конце концов, живете между Парижем и Лионом и мной. А я — между Парижем и всем миром. Ваша промежуточная остановка — Шамбери, а моя — Нью-Йорк. У нас разные ритмы жизни. Быть может, Шарль, я слишком много пережила, я уже не юная девушка, которой вы заслуживаете».

И это была правда, Шарль заслуживал юную девушку, нежную и доверчивую, как он сам, и такую же наивную. Ее глаза внезапно наполнились слезами. Она вытерла их резким движением и вдруг снова обнаружила себя на этом нелепом седалище — с растекшейся тушью, открытым ртом и в полном одиночестве. После секундного колебания ее разобрал смех, и она заплакала от смеха, не в силах остановиться и сама не зная почему, по-прежнему вцепившись в подобие поручня, предназначенного для притомившихся пассажиров. Заставляла себя думать о Елизавете II, о парламенте, или о королеве Виктории, или о ком угодно в том же духе, ораторствующим со своего кресла перед незримой, молчаливой и потрясенной толпой. Вдруг она увидела, как дверная ручка поднялась, опустилась, снова поднялась, опустилась, и она замерла, окаменев от надежды, зажав сумочку в руке, готовая к бег-

ству. Потом ручка перестала шевелиться, и она с ужасом осознала, что кто-то пришел, решил с достаточным, впрочем, основанием, что место занято, и преспокойно ушел восвояси. Теперь ей надо быть настороже и кричать. Впрочем, почему бы не закричать прямо сейчас? Ведь не собирается же она провести целых два часа до Лиона в этом убогом месте. Наверняка найдется решение, кто-то пройдет мимо, услышит ее крики, и, в конце концов, лучше уж смешное, чем эта смертная тоска, которой она автоматически вскоре отдастся. Так что она закричала. Сперва немного хрипло крикнула: «Help!», но потом, вспомнив, как это ни глупо, что находится во Франции, стала вопить: «Помогите! Помогите! Помогите!» — каким-то писклявым голоском, от которого, бог знает почему, ей неудержимо хотелось смеяться. К своему великому ошеломлению, она заметила, что сидит на этом проклятом стульчаке, держась за бока. Может, ей после разрыва с Шарлем следует пройти какое-нибудь нервное обследование? В Американском госпитале или в другом месте… Впрочем, она сама виновата, ей ни в коем случае нельзя разъезжать одной. «Они» всегда ей это говорили: «Не ездите одна». Ведь если бы, например, Шарль сам к ней приехал, о

чем он, впрочем, умолял ее по телефону, то как раз сейчас искал бы ее повсюду, стучал бы во все двери, и она уже была бы освобождена, лакомилась бы этим морским языком а-ля Дюбарри или чем там еще, бог его знает, под восхищенным, таким нежным и покровительственным взглядом Шарля. Конечно, если бы Шарль был здесь…

Да только вот благодаря ее собственному приказу Шарль сейчас, наверное, а впрочем, даже наверняка уже на вокзале Лион-Перраш, с букетом цветов в руках. Он не знает, что его прекрасная возлюбленная загнана в западню, как дикий зверь, томится меж четырех стен, покрытых эмалевой краской, и что он, возможно, увидит, как с поезда в конце пути сойдет всклокоченная, совершенно не в себе женщина с лопнувшими нервами. Даже книг никаких нет! Ни одной книжки в ее сумочке! Единственное, что тут можно почитать, призывает быть осторожнее при выходе, не ошибиться дверью и не спрыгивать на пути. Смешно, просто обхохочешься! Если уж на то пошло, она предпочла бы броситься на рельсы, лишь бы вырваться из этого проклятого места. Все, что угодно, будет лучше, чем эта продезинфицированная коробка, это нелепое препятствие, это прямое покушение на

ее свободу, чего никто не осмеливался делать вот уже десять лет. Десять лет никто не осмеливался ее запирать. А главное, за эти десять лет каждый поскорее старался избавить ее от чего-то или от кого-то. Но тут она одна, как старая кошка! И Летиция яростно пнула дверь ногой, что причинило ей ужасную боль, испортило ее новые туфельки от Сен-Лорана и не послужило ничему. Держась за ногу, она вновь упала на унитаз и поймала себя на том, что жалобно шепчет: «Шарль! О Шарль!»

Конечно, у него, у Шарля, есть свои недостатки: он слишком дотошен, и его мать, в общем-то, ничуть не забавна, да и его друзья, впрочем, тоже. Ее-то собственные гораздо веселее, красивее и оригинальнее, чего уж там. Но все-таки если бы Шарль был здесь, все двери всех закутков всех поездов были бы уже давно распахнуты настежь, и он смотрел бы на нее глазами кокер-спаниеля, положив одну из своих таких больших и при этом таких квадратных рук на ее собственную и говорил бы: «Вы не слишком испугались? Вас не слишком расстроила эта идиотская история?» — и даже извинился бы за то, что не действовал быстрее, а может, даже пригрозил бы подать в суд на SNCF. Ведь он, в сущности, бешеный, несмотря на свой уравновешенный вид. Во всяком случае,

не стерпел бы, чтобы с ней случилось хоть что-нибудь неприятное. Шарль о ней беспокоится, и, если хорошенько подумать, на свете не так уж много мужчин этой породы. Не то чтобы ей не хватало мужчин, которые беспокоились бы о ней, нет, это слишком расплывчатое определение и слишком нелепое само по себе, но обычно их все-таки не хватает — мужчин, которые беспокоятся о женщинах. Все подруги ей это говорили, и, по сути, они, конечно, правы. Это старый добрый лозунг эпохи, но не такой уж неверный. Ведь тот же Лоуренс в тех же обстоятельствах, не видя ее возвращения, решил бы, что она сошла в Дижоне, чтобы встретиться с кем-то другим, а Артур подумал бы… Ничего бы он не подумал. Пил бы до самого Лиона, спросив раза два-три метрдотеля, так что в итоге только Шарль со своим полосатым галстуком и своим спокойным видом перевернул бы ради нее весь «Мистраль». Да, очень досадно, что они должны расстаться. Если подумать, даже глупо. Ей тридцать шесть лет, и с двадцати она занималась только мужчинами — своими мужчинами, — их причудами, их историями, их женщинами, их амбициями, их грустью, их желаниями… А в этом поезде, застряв тут самым несуразным образом из-за строптивой защелки,

видит вдруг лишь одного мужчину, который мог бы вытащить ее отсюда, и как раз этому-то мужчине (ради которого оказалась в этом поезде и к кому едет) она собирается сказать раз и навсегда, что не нуждается в нем, равно как и он в ней! Однако ведь она была — о боже! — убеждена во всем этом, садясь в поезд часом раньше. И каким решительным тоном велела Ахиллу, своему шоферу, заехать за ней завтра в то же время, когда все цепи будут порваны! (Это про себя, разумеется.) И с какой радостью она воображала себе этим самым утром, как вернется в Париж, одна, свободная, без лжи и без долга, без малейшего обязательства ждать телефонного звонка из Лиона, отказываться от приятного ужина из-за возможного приезда из Лиона, внезапно отменять какую-нибудь необычную встречу из-за присутствия этого Шарля… Да, проснувшись сегодня утром у себя дома, она ликовала, внезапно разрываясь между удовольствием сесть в поезд, чтобы прокатиться по прекрасной французской равнине, и другим, гораздо более жестоким удовольствием — проявить честность и недвусмысленность, пуститься в путь, чтобы дать понять кому-то, что она честна и недвусмысленна, но при этом потеряна для него. Да, в ней всегда была некая жестокость,

которая легко могла стать и ликующей. Но тут она, Летиция Гаретт, стала гнусной карикатурой на саму себя, этакой запертой в туалете женщиной-вамп, и ни ее судьба, ни ее прошлое как-то не укладывались в эту рубленую мозаику, которая отражалась вместо ее лица в мутном туалетном зеркале — оптическая иллюзия из-за слез от смеха и сильнейшего раздражения.

Чуть позже было полно настойчивых мужчин или женщин — как тут разберешь? — которые трясли ее дверь и кому она кричала «Help!», или «Помогите!», или «Please!» на все лады. Она вспомнила свое детство, свои браки, детей, которых могла бы родить, тех, которых родила. Вспомнила дурацкие подробности пляжей, ночные шепоты, пластинки, глупости и, поскольку обладала определенным юмором, подумала, что ни один психиатрический кабинет не смог бы поспорить по эффективности с запертым ватерклозетом вагона первого класса между Парижем и Лионом.

Она была освобождена после Шалона и даже не заикнулась своей спасительнице — даме из Лиона в конечном счете, — что сидела тут так давно. Как бы там ни было, она сошла в Лионе безупречно накрашенная, совершенно спокойная,

и Шарль, трепетавший на краю платформы уже скоро час, удивился, как помолодели ее черты. Он побежал к ней, в первый раз за все время, что знал ее, а она слегка прижалась к нему, уткнувшись головой в его плечо, и призналась, что устала.

— Однако поезд очень комфортабельный, — удивился он.

Она рассеянно пробормотала: «О, конечно», а потом, повернувшись к нему, задала вопрос, который мог сделать его счастливейшим человеком в мире:

— А вы хотите, чтобы мы поженились?

# Собачья ночь

Господин Ксименестр очень походил на рисунок Шаваля[5]. Тучный, немного ошалелый с виду, но в конечном счете симпатичный. Однако сейчас, в конце декабря, его лицо приобрело столь унылое выражение, что у каждого не лишенного сердца прохожего возникало неодолимое желание утешить беднягу. Озабоченность г-на Ксименестра была вызвана приближением праздников, на которые он, хоть и добрый христианин, взирал в этом году с отвращением, поскольку не имел ни гроша, чтобы одарить весьма охочую до подарков г-жу Ксименестр, своего ни на что не годного сына Шарля и дочку Огюсту, прекрасно танцевавшую калипсо. Ни гроша — ситуация была именно такой. Причем и речи быть не могло о прибавке к жалованью или о займе. И то и другое уже было достигнуто г-ном Ксименестром (хотя и без ведома супруги и детей, которым он должен был бы служить опорой), но ради удовлетворения своего нового порока, своей пагубной страсти. К игре.

---

**[5] Примечания: 5**
Шаваль (1915–1968) — известный французский карикатурист.

То была отнюдь не банальная игра, где по зеленому сукну струится золото, и не та, где по другому зеленому покрытию мчатся взмыленные лошади. Эта игра была еще неведома во Франции, но, к несчастью, уже приобрела популярность в одном кафе семнадцатого округа, где г-н Ксименестр каждый вечер перед возвращением домой выпивал бокальчик красного мартини: там играли в дротики при посредстве духовой трубки и тысячефранковой купюры. Все завсегдатаи были от новой забавы без ума, кроме одного, которому из-за шумов в сердце пришлось остановиться. Занесенная в квартал каким-то безвестным австралийцем, эта волнующая игра быстро сплотила своих почитателей в некий очень закрытый клуб, обосновавшийся в заднем зале, где хозяин-энтузиаст пожертвовал маленьким бильярдом.

Короче, г-н Ксименестр разорился на этом, несмотря на свой многообещающий дебют. Что делать? У кого еще занять денег на подарки — сумочку, полускутер и проигрыватель, — которых, как он знал, ждали от него домочадцы после некоторых весьма прозрачных намеков за столом? Проходили дни, все ярче разгорались от предвкушаемого удовольствия глаза, и начинал весело падать снег. Г-н Ксименестр пожелтел

лицом и надеялся заболеть. Напрасно.

Утром 24 декабря он вышел из дому, напутствуемый тремя поощрительными взглядами. Ежедневный обыск, который осуществляла г-жа Ксименестр, пока не обнаружил драгоценных, столь ожидаемых пакетов. «Не очень-то торопится», — думала она с некоторой колкостью, но без малейшего беспокойства.

На улице г-н Ксименестр трижды обмотал лицо шарфом, и этот жест навел его на мысль об ограблении. Которую он, к счастью, немедленно отверг. Направился своей медвежьей, медлительной и добродушной походкой к уличной скамье, рухнул на нее, и вскоре снег превратил его в айсберг. Мысль о трубке, о кожаном портфеле и о красном галстуке (впрочем, не пригодном для носки), которые, как он знал, ждут его дома, довела его скорбь до предела.

Мимо прошло вприпрыжку несколько краснолицых прохожих, таща по пакету на каждом пальце — отцы семейств, достойные этого наименования. В двух шагах от г-на Ксименестра остановился лимузин. Оттуда выпорхнуло сказочное создание с двумя шпицами на поводке. Но г-н Ксименестр, хоть и любитель прекрасного пола, взглянул на красотку без малейшего ин-

тереса. Потом его глаза поблуждали по собакам и вдруг вспыхнули ярким пламенем. Избавившись от сугроба на своих коленях, он поспешно выпрямился и испустил радостное восклицание, приглушенное снегом, обвалившимся со шляпы ему на глаза и шею.

— В собачий приют! — вскричал он.

Приют оказался местом довольно мрачным, полным грустных или возбужденных собак, которые немного испугали г-на Ксименестра. Наконец он остановил свой выбор на псине довольно неопределенной породы и масти, но у которой, согласно расхожему выражению, были добрые глаза. А г-н Ксименестр догадывался, что ему потребуются бесконечно добрые глаза, чтобы заменить сумочку, проигрыватель и скутер. Он немедленно окрестил свое приобретение Медором и, держа его за веревку, вышел на улицу.

Радость Медора немедленно превратилась в исступленное буйство, передавшееся и г-ну Ксименестру (помимо его воли), изумленному собачьей мощью. Он протащился за псом несколько сотен метров прыткой рысью (поскольку выражение «бежать» уже давно не могло прилагаться к г-ну Ксименестру) и в конце концов врезался в какого-то прохожего, прорычавшего что-то

насчет «мерзких тварей». Несшийся, как водный лыжник, г-н Ксименестр уже прикидывал, что, может, лучше было бы выпустить веревку и вернуться домой. Но тут Медор, чья желтовато-грязная шкура была вся обсыпана снегом, затявкал, восторженно метнулся к нему, и г-н Ксименестр подумал, что на него уже давно так не смотрели. Его сердце не устояло. Он вгляделся в карие глаза Медора, и его голубой взор на секунду озарила несказанная нежность.

Медор очнулся первым. Вновь ринулся вперед, и гонка возобновилась. Г-н Ксименестр смутно подумал об анемичном бассете, соседе Медора, на которого даже не посмотрел, полагая, что собака должна быть большой. Теперь же он буквально летел к дому. Они остановились только на минуту, в кафе, где г-н Ксименестр проглотил три порции грога, а Медор три кусочка сахара — угощение сердобольной хозяйки: «Бедный песик, в такую погоду и без попонки!» Г-н Ксименестр, тяжело пыхтя, ничего не ответил.

На Медора сахар произвел укрепляющее воздействие, так что в дверь квартиры Ксименестров позвонил уже самый настоящий призрак. Г-жа Ксименестр открыла, Медор влетел внутрь, а г-н Ксименестр, рыдая от усталости, упал в объятия

супруги.

— Это еще что такое? — вырвался крик из груди г-жи Ксименестр.

— Медор, — пролепетал г-н Ксименестр и в отчаянном усилии добавил: — С Рождеством, дорогая!

— С Рождеством? С Рождеством? — поперхнулась г-жа Ксименестр. — Что ты этим хочешь сказать?

— Сегодня ведь двадцать четвертое декабря! — воскликнул г-н Ксименестр, придя в себя благодаря теплу и безопасности. — Ну, так я тебе на Рождество… всем вам, — поправился он, поскольку из кухни, вытаращив глаза, выскочили дети, — дарю Медора! Вот!

И он решительным шагом вошел в свою комнату. Но немедленно рухнул на кровать и вооружился своей трубкой времен Первой мировой, про которую любил говаривать, что она «видала виды». Набил ее дрожащими руками, раскурил, сунул ноги под стеганое одеяло и стал ждать атаки.

Почти тотчас же в комнату ворвалась г-жа Ксименестр, бледная (прямо жуть — уточнил про себя г-н Ксименестр). Его первым побуждением было зарыться под одеяло — рефлекс окопника.

Наружу торчал только клок редких волос да струился дымок из трубки. Но и этого хватило для гнева г-жи Ксименестр.

— Ты можешь мне сказать, что это за пес?

— Полагаю, что-то вроде фламандской овчарки, — донесся слабый голос г-на Ксименестра.

— Что-то вроде фламандской овчарки? — Ярость г-жи Ксименестр поднялась тоном выше. — А ты знаешь, что твой сын ждет на Рождество? А твоя дочь? О себе самой я уж не говорю… Но они? И ты собираешься всучить им эту кошмарную зверюгу?

Тут как раз вошел Медор. Вспрыгнул на постель г-на Ксименестра, улегся рядом и положил морду ему на голову. На глаза его друга навернулись слезы нежности, к счастью, скрытые одеялом.

— Это уж слишком, — решила г-жа Ксименестр. — Ты уверен хотя бы, что эта тварь не бешеная?

— В таком случае вас будет двое, — холодно ответил г-н Ксименестр.

Ужасная реплика привела к немедленному исчезновению г-жи Ксименестр. Медор облизал своего хозяина и заснул. В полночь супруга и дети ушли на полуночную мессу, не предупредив г-на Ксименестра. Без четверти час его охватило

легкое чувство беспокойства, и он решил вывести Медора минут на пять. Обмотался своим большим кашне и медленным шагом побрел к церкви, а Медор по пути обнюхивал все подворотни.

Церковь была переполнена, и г-н Ксименестр напрасно попытался толкнуть ее дверь. Так что он стал ждать снаружи, под снегопадом, подняв шарф до самых глаз и слыша доносившиеся из-за двери песнопения добрых христиан. Медор так сильно дергал за веревку, что г-н Ксименестр в конце концов сел на ступени и привязал ее к своей ноге. Мало-помалу холод и пережитые страхи сковали оцепенением его взбудораженный ум, так что он уже не слишком понимал, что тут делает. И был немало удивлен волной проголодавшихся верующих, которая вдруг хлынула на него из церкви. Не успел он встать и отвязать веревку, как чей-то юный голос уже воскликнул:

— О, какая милая собачка! Ах, бедняга!.. Погоди-ка, Жан-Клод.

И на колени опешившего г-на Ксименестра упала пятифранковая монета. Он встал, что-то лепеча, и тот, кого звали Жан-Клодом, тоже взволнованный, дал ему другую монету, посоветовав весело провести Рождество.

— Но… — пробормотал г-н Ксименестр, — да

будет вам…

Известно, до какой степени может быть заразительным сострадание. Все или почти все прихожане, выходившие из церкви через ее правое крыло, подавали г-ну Ксименестру и Медору свою лепту. Засыпанный снегом, ошалевший, г-н Ксименестр тщетно пытался их отговорить.

Тем временем, выйдя через левое крыло, г-жа Ксименестр и ее дети вернулись к своему очагу. Вскоре явился и г-н Ксименестр, извинился за свою вечернюю шутку и вручил каждому сумму, эквивалентную его подарку. Рождественская трапеза прошла очень весело. Потом г-н Ксименестр отправился спать вместе с Медором, обожравшимся индейкой, и оба заснули сном праведников.

# Разрыв по-римски

Он пригласил ее на коктейль, но в последний раз. Сама она этого не знала. Он собирался отдать ее, словно Бландину, на растерзание львам: своим друзьям.

Хотел отделаться сегодня вечером от этой занудной, белокурой и к тому же требовательной женщины. Немного зараженной снобизмом, пресной и не такой уж чувственной. Наконец-то, после двух лет по меньшей мере, он вознамерился осуществить это решение (хотя нельзя сказать, что оно вызрело у него по-настоящему — он пришел к нему внезапно, в приступе гнева на римском пляже). Луиджи, герой празднеств, любитель автомобилей, женщин и глупостей, но при этом крайне трусливый в некоторых жизненных обстоятельствах, собирался сообщить своей любовнице об их разрыве. И, что любопытно, нуждался для этого во всем том поголовье, одновременно безразличном, веселом и неискреннем, обаятельном, пылком и дружелюбном, которое называл «своими друзьями». На протяжении целых трех месяцев они видели, как он все больше

нервничает, раздражается, отдаляется, короче, покидает в душе эту такую занудную Ингу.

Занудная Инга долго была одной из красивейших женщин, одной из красивейших «гостий Рима» и, как, впрочем, с гордостью говорили сами друзья Луиджи, одной из красивейших его любовниц.

Но прошли два года, а с ними и моды, и еще бог знает что, и теперь сильно раздраженный Луиджи вез в своем автомобиле на этот коктейль, который станет прощальным, все такую же красивую, белокурую, но уже лишившуюся в его глазах всякой прелести Ингу. Луиджи даже любопытно было видеть, до какой степени ему стала невыносима не сама эта женщина, но ее образ. Он собирался расстаться не с этим профилем, губами, плечами, бедрами, ногами, со всем тем, что в свое время обожал, почти боготворил, поскольку был сластолюбив. Он собирался расстаться со схемой, со статуэткой, которая лишь в силу многократного, многократного эха стала вот этим: «Ну Инга, знаешь? Та, что с Луиджи». И напрасно говорил он себе, ведя машину по улицам Рима, точнее, напрасно пытался сказать себе, что она такое же существо из плоти и крови, как он сам. Ему казалось, что он едет со старой фотографией

в полный рост, хорошо одетой и тупо помещенной подле него на некий неопределенный срок, который тем не менее растянулся на два года и закончится сегодня вечером.

Он был настолько же далек от этой шведки, насколько близок к своим итальянским друзьям — к своему миру, тесному мирку своих приятелей, единоверцев, забияк, своей ровни. На самом деле он не слишком хорошо понимал, почему хочет порвать именно сегодня вечером, а также зачем ему понадобилось, чтобы об этом все знали. Это было одной из граней той странной фатальности, той ложной морали, которой в Риме все еще хватало даже двадцать веков спустя после Нерона. На самом деле, сидя за рулем своей прекрасной машины с откидным верхом и благородно пренебрегая ремнем безопасности, Луиджи вполне умышленно собирался бросить свою христианку на растерзание диким зверям. Короче, собирался бросить свою любовницу, но так, чтобы это наделало побольше шума и тем самым стало непоправимым. Он был отнюдь не мелок, но приобрел в силу своего окружения некий страх одиночества, привычку быть с кем-нибудь и глубокую, сильную, а тут и практически порочную потребность одобрения со стороны

других. Других, дураков или умных, жестокосердных или мягкосердечных, жертв или охотников, но в любом случае «других», упрямо разгуливающих по тротуарам своего родного города — Рима. Больных от самих себя, одурманенных, ищущих шаткого равновесия между своими пороками, своими удовольствиями, своим здоровьем и — порой — своими ласками. Инга оказалась среди них как некий объект — красивый, белокурый, голубоглазый, длинноногий и в высшей степени элегантный объект, которого сразу стали домогаться, как можно домогаться первого приза. И победителем оказался Луиджи де Санто, архитектор, римлянин тридцати лет с неплохим прошлым и неплохим будущим. Он-то и получил этот первый приз, забрал к себе домой, уложил в свою постель и вырвал слова любви — даже крики. Именно он потребовал от северянки, чтобы она сообразовывалась с требованиями южных мужчин. Впрочем, ничего особо порочного. Луиджи был достаточно веселым или достаточно самцом, чтобы обойтись без этого. Но время, пресловутое пылкое время прошло: Инга стала дуться. Названия Стокгольм, Гётеборг все чаще проскальзывали в ее речах, к которым он, впрочем, весьма мало прислушивался. Много работал.

Так что, бросая на нее этим вечером взгляды предателя, взгляды Яго, он чувствовал, что удивлен и будто бы даже обеспокоен собственным любопытством. В конце концов, эту женщину, этот профиль, это тело, эту судьбу он бросит через час или два, так и не узнав их по-настоящему. То, что она сделает с собой, его, разумеется, не беспокоило, поскольку прожить два года с веселым, щедрым, немного равнодушным мужчиной еще не повод для довольно веселых, довольно щедрых, довольно равнодушных женщин убивать себя. Она наверняка уедет в другой итальянский город — или в Париж, — и он вряд ли по ней заскучает, или, наоборот, она по нему. Они скорее «сожительствовали», «сосуществовали», как две модные картинки, два нарисованных силуэта — не ими самими, но обществом, в котором жили. Практически они играли театральную роль без театра, карикатурную без карикатуры и чувственную без чувства. Хорошо, что Луиджи де Санто взял любовницей молодую мимолетную женщину по имени Инга Инглеборг. И также хорошо, что они желали друг друга, терпели друг друга и теперь, по прошествии двух лет, расставались…

Она чуть зевнула, повернулась к нему и спро-

сила своим спокойным голосом с этим легким акцентом, который, в сущности, раздражал его вот уже два дня, «кто» у него «будет» сегодня вечером. И когда он ответил с улыбкой «все те же», она вдруг показалась ему немного разочарованной. Быть может, осознала, что их история закончена, быть может, уже сама начала отдаляться, убегать, убегать от него? И при этой мысли в нем проснулся древний инстинкт самца. Он подумал, что если бы захотел, то смог бы с ней все, что угодно: оставить ее при себе, успокоить, сделать ей десять детей, запереть, а также, почему бы и нет, любить ее. При этой мысли его разобрал смех, и она повернулась к нему и сказала: «Тебе весело?» — тоном скорее вопросительным, нежели веселым, тоном, который его удивил. «В любом случае, — говорил он себе, проезжая по пьяцца Навона, — в любом случае она должна о чем-то догадываться. Карла мне позвонила полчаса назад, и Джана, и Умберто. И хотя она никогда не слушает телефонные разговоры — впрочем, она бы ничего и не поняла, бедняжка (хоть и говорит бегло по-итальянски), — она все-таки должна была заподозрить: что-то происходит. Хваленая женская интуиция». И внезапно, вновь присоединив ее к женскому клану, к массе этих

навязчивых, сексуально озабоченных женщин 1975 года, он почувствовал себя спокойнее. Она была женщиной, которую он прилично содержал и с которой достаточно занимался любовью, таскал на пляжи, в загородные дома, на вечеринки, всегда готовый защищать ее физически, а также атаковать — тоже физически, но уже иначе. То, что она никогда не отвечала ему прямо, то, что они лишь очень редко говорили друг другу «люблю тебя» и это «люблю тебя» на их различных языках обнаруживало больше эротизма, нежели чувства, — все это было неважно. В любом случае, как говорили по телефону Гвидо и Карла, самое время с этим покончить: он закисает! Мужчина с его обаянием, с его размахом и оригинальностью не должен больше двух лет возиться с какой-то шведской манекенщицей. А уж им-то он может верить, они его хорошо знают. Даже лучше, чем он сам. Это подразумевалось с самого начала, ну, с его пятнадцати лет.

Вилла была вся в огнях. Луиджи с какой-то грустной насмешкой подумал, что последнее воспоминание, которое Инга сохранит о Риме, будет довольно пышным. Под дождем блестели красные и черные болиды, очаровательный и преданный дворецкий бежал к ним под разно-

цветным зонтиком, в дом вели стертые бежевые ступени исторического крыльца, а внутри были эти столь хорошо одетые женщины и столь явно готовые раздеть их мужчины. Тем не менее, когда он взял Ингу под руку, чтобы подняться по ступеням, у него возникло неприятное впечатление, будто он ведет кого-то на корриду, но только через выход для быков, или втягивает невинного в игру, в оргию, о чем тот и не подозревает.

Тут их заметила Карла и бросилась к ним (хотя, скорее, уж на них). Она смотрела на Ингу и смеялась, и он тоже смеялся, заранее.

— Милые вы мои, — сказала Карла, — милые мои малыши, я уж забеспокоилась.

Он поцеловал ее, конечно, и Инга тоже, и они прошли через зал. Он хорошо знал Рим и его салоны, так что появление в толпе перед ними некоей просеки лишь укрепило его в собственных догадках и предположениях: все эти люди уже в курсе, все эти люди ждали их прибытия, зная, что он, Луиджи, собирается сегодня вечером порвать — громко, весело — со своей любовницей, шведкой Ингой Инглеборг, очень красивой, конечно, но слишком уж долго несменяемой.

Она же, казалось, не видела ничего. Опиралась о его руку, приветствовала старых добрых

друзей, направляясь к буфету, готовая, как и всякий раз, впрочем, надо это признать, пить, есть, танцевать, а по возвращении домой заниматься любовью. Ни больше ни меньше. Но ему вдруг показалось, что это «ни меньше» присутствовало всегда, а вот того, что «ни больше», у нее, быть может, следовало просить.

Она небрежно взяла водку с тоником, и Карла настойчиво посоветовала ей взять еще. Незаметно, словно в каком-то плохом, немного хищном балете, их полукругом обступили друзья. Ждали, но чего?.. Что он скажет им, как эта женщина его допекла, даст ей пощечину, займется с ней любовью? Чего? В сущности, он и сам не знал, почему этим осенним римским вечером, таким тяжелым и грозовым, должен объяснять всем этим маскам (таким знакомым и при этом таким анонимным), что ему надо, что ему просто необходимо расстаться с Ингой.

Он вспомнил, как однажды сказал: «Она не нашей породы», но, глядя сейчас на «породу», которая их окружала, на эту смесь шакалов, стервятников и домашней птицы, спросил себя, не превосходят ли на самом деле его слова его же мысль. Странно, и наверняка в первый раз с тех пор, как он узнал эту красивую молодую бело-

курую, приехавшую с Севера женщину, шведку, такую независимую и тем не менее ставшую его ночной подругой, странно, но он почувствовал себя солидарным с ней.

Явился Джузеппе, по-прежнему красивый, по-прежнему веселый. Поцеловал руку Инге почти драматическим жестом, и Луиджи поймал себя на мысли, что тот «сыграл» свой жест. Потом вернулась Карла. Спросила у Инги с преувеличенным вниманием, видела ли она последний фильм Висконти. Потом подоспел сбитый с толку Альдо и дал понять Инге, что ее присутствие неизменно будет лучшим украшением его загородного дома близ Аосты. (Альдо всегда немного торопил события.) Потом справа подошла Марина, подлинная богиня этих мест, положила одну руку на рукав Луиджи, а другую — на обнаженную руку Инги.

— Боже мой, — сказала она, — как вы оба красивы! Вы и в самом деле созданы, чтобы поладить…

Толпа, как говорят в Испании, затаила дыхание, и коррида началась. Но бык, занудная Инга, безмятежно улыбалась. Все явно ожидали какого-нибудь намека, чего-то забавного от Луиджи. Этого ждали его друзья, а он не находил ничего. Лишь сделал рукой один из этих столь итальян-

ских жестов, который мог означать и «niente»[6], и «спасибо». Немного разочарованная Карла, которой он и впрямь обещал трагикомедию, обещал, что сегодняшний вечер будет вечером разрыва, хоть и не уточняя места, тотчас же ринулась в атаку.

— Ужасная жара, — сказала она. — Думаю, моя дорогая Инга, что у вас лето гораздо мягче. Ведь Швеция, если память мне не изменяет, это ведь на севере, верно?

Джузеппе, Марина, Гвидо и другие рассмеялись. Но Луиджи недоуменно подумал, а что, собственно, забавного в напоминании о том, что Швеция севернее Италии? И на миг у него мелькнула мысль, что Карла не так уж остроумна, как это утверждалось в «Воге». Он попытался избавиться от этой мысли, как от греховной, словно в детстве, в монастырской школе, когда их предостерегали от рукоблудия.

— Я и в самом деле полагаю, что Швеция севернее Италии, — ответила Инга с той спокойной интонацией, которая придавала нейтральность всему, что она говорила, а быть может, даже и всему, что делала, но которая наверняка показа-

---

**[6] Примечания: 6**
Ничего *(ит.)*.

лась кому-то неотразимо забавной, потому что в толпе, собравшейся вокруг буфета, разразился хохот.

«Должно быть, это нервное напряжение, — подумал Луиджи, — они все ждут, что я распрощаюсь с ней в довольно грязных выражениях, а впрочем, мне уже пора действовать».

…Тут Инга подняла на него свои сиреневые глаза — поскольку они у нее действительно были сиреневые, что и стало одной из главных причин ее успеха в Риме с самого прибытия, — и, все так же окруженная толпой, произнесла потрясающую фразу: «Луиджи, я нахожу этот вечер довольно скучным. Тебя не затруднит отвезти меня в какое-нибудь другое место?»

Ударила молния, зазвенел хрусталь, испарились дворецкие, чихуахуа попадали в обморок, и Луиджи понял. Внезапно между этими двумя людьми произошло то, что обычно называют обменом, обменом взглядами. И в совершенно сиреневых, совершенно искренних глазах женщины был отнюдь не наивный вопрос, но категоричное утверждение, означавшее: «Я люблю тебя, дурень». И точно так же в темных глазах усталого римлянина был наивный, мужской и одновременно детский вопрос: «Правда?» И все

перевернулось. Ситуация, люди, мысли, планы и даже конец вечера. «Друзья» оказались вдруг подвешенными к потолку за ноги, съежившиеся, как летучие мыши зимой. Толпа была теперь всего лишь триумфальным проходом к открытой машине, и Рим был так же прекрасен, как обычно. И Рим был в Риме, и любовь была в Риме.

# Ближайшее кафе

«Странно, — говорил он себе, спускаясь по лестнице от своего честного врача, — странно, что делают мои ноги. Спускаются прямо по этой убогой, мещанской, уж не знаю какой там еще лестнице. Спускаются прямо к этой решенной и немыслимой смерти».

Его ноги, его собственные ноги, которые он видел и ловко выделывающими танцевальные па меж ног женщины, и голыми, спокойно лежащими на пляже. А тут он смотрел на них с каким-то отвращением, ужасом и удивлением, смотрел, как они спускаются по лестнице от слишком честного врача. Смерть и в самом деле была чем-то бессмысленным, невероятным. Не мог он, Марк, умереть. Было что-то туманное, абстрактное между взглядом врача на его фото, вернее, на фото его тела (неважно какой части, этого он даже знать не хотел), на это похабное, по его мнению, фото, которое они называют рентгеновским снимком, и им самим. Там что-то такое зияло — нелепое, бледно-голубое, дурацкое. Невозможно, чтобы между тем взбегавшим по

лестнице, опаздывавшим, запыхавшимся и даже озабоченным своим сердцем Марком и этим смертельно спокойно спускающимся по тем же самым ступеням, сознающим и одновременно не сознающим свою участь Марком прошло всего полчаса. Полчаса с холодным, огорченным и вежливым человеком, от которого даже сквозь саму его холодность исходила теплота. «Три месяца, — сказал он, — легкое, знаете ли…» И Марк, о котором никто никогда не думал и кому никто даже не желал завтрашней смерти, Марк чувствовал, как его кожа съеживается при одной мысли об этом уточнении: «*Я* умираю, *мне* предстоит умереть, *меня* скоро не будет».

Хотя он ведь сам все сделал, чтобы вынудить врача к этой искренности, еще не вошедшей в моду в Европе. Сказал, что с женой в разводе, что его родители недееспособны и что те несколько детей, которых он мог наплодить, никакой законной ответственности за него не несут. Наверняка именно этому размытому уточнению он и обязан своим столь категоричным приговором. В конце концов, может, врачи даже в этих обстоятельствах, называемых драматическими, испытывают некоторое отвращение к таким жалким пациентам? Он и впрямь жалок. Слава

богу еще, рак у него в удачном месте. А то ведь бывают случаи совсем нелепые: рак ободочной кишки, кожи и всяких там частей тела. Его-то собственный относится к разряду элегантных: через три месяца он классически умрет от рака легких. Он тихонько засмеялся, чувствуя себя молодым, веселым, идущим в ногу со временем. Потом захохотал, ужасно, почти торжествующе, подумав, что мог ведь, в конце-то концов, заполучить рак кишечника. Что было бы мучительнее, сложнее высказать (он еще не знал, как именно, даже если бы ему захотелось в этом признаться). Какой бы метафорой он окружил этот дурацкий орган, который для любого человеческого существа связан с воспоминаниями о детском поносе или о каких-нибудь экзотических недугах? Ему еще повезло в его несчастье. На сей раз не придется даже ни извиняться, ни рубить сплеча. Если станет невмоготу, он сможет сказать: «Я умираю от этого». Не придется говорить, как обычно, «если я тебя покидаю, то из-за того-то» или «если я ухожу, то из-за этого»; и *то*, и *это* были ложными. На сей раз ему не придется укрываться за слабой линией своей чувствительности или за сильной линией своего тщеславия. Не придется даже извинять свою смерть.

Он начал последний лестничный вираж, и вдруг на пороге двери ему явилась сама жизнь, Жизнь с большой буквы, и он остановился на миг. Он-то уже видел себя дрожащим в темноте больничных палат, в окружении успокаивающих друзей и задумчивых докторов, а тут такое солнце! Солнце и впрямь было уже подсолнухом, огромным сожалением, и наверняка именно тут, впервые в своей жизни, Марк пережил минуту храбрости, настоящей храбрости. Выскочил как безумный на тротуар, увидел бульвар, жизнь, город и застыл на краю тротуара, как слепой и глухой, прежде чем направиться спокойным шагом к ближайшему кафе. К кафе, которое он никогда прежде не замечал, но знал отныне, что оно навсегда запечатлеется в его памяти. Думая это, он вдруг осознал, что его «навсегда» — всего лишь три месяца, а потому все это нелепо, гнусно, смехотворно и мелодраматично.

Больше всего его удивляло, что он ни о ком не думает. В конце концов, при таких делах дочь бежит к своей матери, мужчина — к своей женщине, а мифоман — навстречу своей судьбе. А он никуда не пошел, кроме как в это вот классическое кафе, где не было почти ничего, кроме пластика под дерево, служащих да пива.

Он уперся бедром в барную стойку и испытал на миг то старое и классическое утешение, которое всегда на него снисходило, когда он устраивался таким вот образом у деревянной или мраморной поверхности. Людей в кафе было мало, и он расценил это как подарок. Подозвал официанта, который тотчас же порхнул к нему чайкой, и заказал у него для начала перно. На самом деле он не знал, почему заказал перно, поскольку всегда ненавидел вкус аниса. Но потом сообразил, что его запах напоминает ему пляжи, тела женщин, ракушки, водоросли, буйабес[7], удачный кроль, так что в каком-то смысле это запах самой жизни. С тем же успехом он мог бы заказать у официанта кальвадос, с лужайками и дощатыми мостками вдоль пляжей, с грозами и длинными аллеями, переполненными ветром. Мог бы также заказать сироп из миндального молока: грудь матери и ее волосы и запах сырого дерева, когда он был маленьким, в «их» спальне. Мог бы также потребовать в стакане у этой стойки «Шанель № 5» (Анн), «Женщину» Роша (Хейди), «Зеленый ветер»… этой, как же ее звали? А потом запах собственных слез, вызванных «Герленом» той

**[7] Примечания: 7**
Буйабес — провансальское рыбное блюдо.

женщины, которую он больше никогда не видел и которую звали… Инес? Это потрясающе, вся эта сила улицы, запахи, жара в Париже. Просто невероятно, до какой степени все эти люди в этом баре были одновременно его всегдашними друзьями и посторонними. Не так уж много он и сделал, чтобы сожалеть об этом. Как говорят, тащился ни шатко ни валко, но совершенно чистосердечно от одной к другой, от одной постели к другой, от одной страсти к другой. И вечно на что-то натыкаясь, повсюду раздираясь, однако никогда не становился бесчувственным и пресыщенным, хотя частенько бывал циничным, а еще чаще ополоумевшим, хлопал крыльями, как старая чайка вокруг одних и тех же буксиров, но никогда не уставал лететь за ними.

Да он был славным, готовым на все кретином и, если подумать, на самом деле не мог упрекнуть себя ни в чем таком уж серьезном. И тот факт, что его смерть вполне ощутима и расписана по времени, не показался ему скандальным. Просто он должен ускорить ее, покончить с ней, чтобы ему не пришлось терпеть самого себя в неизбежном будущем: осунувшимся, лысым, шатающимся и ждущим укола. Ну уж нет, это он попытается пресечь, хотя еще не слишком уверен, что ему

хватит смелости. И тут он снова стал великолепным Марком, обаятельным, чудесным, нежным Марком, поднял свой стакан и обратил к бармену широкий, немного смешной жест.

— Друг мой, — сказал он громовым голосом, и разговоры смолкли, а восемь-десять клиентов, в том числе и парочка дежурных влюбленных, озадаченно на него посмотрели. — Друг мой, мне бы хотелось угостить всех. Представьте себе, я выиграл на скачках в Сен-Клу! Ставка на три первых номера. Только что об этом узнал.

Все слегка ошалели, но очень быстро развеселились, и все, точнее, эти десять человек — его последние свидетели — повернулись к нему и с энтузиазмом зааплодировали. Он выпил с ними за разные здоровья, в том числе и за собственное, щепетильно заплатил по счету и сел в свою машину, оставленную в десяти метрах от подъезда врача.

Поскольку он еще пребывал в достаточно крепком здравии, ему хватило силы и любезности как бы случайно врезаться в дерево, не доезжая Мант-ла-Жоли, да, как говорят, там и остаться.

# Семичасовой укол

— Держитесь за поручни!

Сесили Б., актриса, была красива и тяжеловесна, но строптива.

— Сожалею, — воскликнула она своим басом, который создал ей славу как в Лондоне, так и на Бродвее, — сожалею, Дик, но образ Петулии мне Вообще-то видится не таким…

Сидевший один в первом ряду оркестра, Дик слегка передернул плечами.

— Я бы даже сказала больше, — колко продолжил голос, доносившийся с залитой светом сцены, — на мой взгляд, эта женщина даже не шлюха.

К своему великому (и уже близкому к неудержимому смеху) удивлению, Дик Лейтон, один из лучших театральных драматургов — по крайней мере, признанный таковым на данный момент, — вздумал с ней спорить.

— Но, — попытался он возразить, — дорогая моя, дорогая Сесили, я никогда даже не намекал…

Она в одну секунду оборвала его сокрушитель-

ным взмахом руки — одним из своих привычных жестов, которые обычно утверждали ее успех в нужный момент.

— Вы дали это понять, — бросила она.

Дик с улыбкой обернулся к своему приятелю Реджинальду, которого давно не видел, наверняка с самого Оксфорда, и тот показался ему еще более ошарашенным, чем он ожидал.

Ему показалось, что лицо друга, сидевшего в трех рядах от него, слабо мерцает в темноте, уже отражая образ будущей публики, и что он уже подспудно смущен выходками и сдвигами мисс Сесили Б.

— Что об этом думаешь? — шепнул Дик.

Реджинальд ответил ему громогласным, почти разнузданным хохотом, который означал в точности: «Ну и девица! Гони ее в шею! Или приструни! Или, черт подери, by Jove, сделай что-нибудь!»

Для Дика это был необычный опыт. Сегодня он работал с людьми, которых называют профессионалами. И вдруг оказался вместе с этим случайно встреченным старым приятелем, который ничего ни в чем не смыслил, всем забавлялся и, как ни странно, в итоге ничего ему не прощал. Короче, вел себя, подражая повадкам подлинной публики

— будто он и есть подлинная публика! Решительно, этот Реджинальд, даже по прошествии стольких лет после Оксфорда, сохранил всю свою смехотворную самоуверенность, основанную исключительно на знании светских условностей и громком голосе.

— Так что, — продолжила Сесили, — что вы решите, дорогой Дик?

— Я решил, что вы мне осточертели, — ответил Дик. — В моей пьесе никогда не было шлюхи… А еще в ней не будет мелкой актриски…

И внезапно новая тишина заполнила его уши. Он увидел, как режиссер и заведующий постановочной частью вскочили против света — против света софитов, — и увидел на сцене панику, разыгранную китайским театром теней. А за спиной отчетливо услышал, как его бывший однокашник, этот псих Реджинальд, бешено аплодирует. Грохот, который он производил своими руками, был и впрямь потрясающий! Пылкий и чересчур громкий, как раз такой, о каком он мечтал целых десять лет: искренний, несвоевременный и неуместный.

И вдруг он осознал, до какой степени сам был неуместен между этой дурой Сесили и этим дураком Арнольдом, режиссером. Разрывался между

обоими, метался от одного к другому, почти шатаясь от усталости и пытаясь втолковать одному, что хочет сказать его текст, и другому, как его надо сказать. А вечером, после театра, ужиная со старыми друзьями, рвал на себе волосы от раздражения, а ночью недоумевал, зачем живет и почему занимается этим ремеслом, хоть оно его и кормит.

Он очнулся от своего темного, золотого сна — смутного, пышного и не слишком правдоподобного, — заслышав громогласный смех кретина Реджинальда, однокашника. Он ведь и вправду поверил в эту пляску света и тени, предметов и жестов, движений и находок, которая в итоге изображала то, что он хотел высказать. Поверил в занавес, который поднимается и опускается, поверил в критические отзывы и похвалы, поверил даже в то, что имеет друзей и врагов. Поверил, что все остальные четко делятся относительно него надвое: мерзавцы справа, приятели слева. Поверил, что земле и миру есть до него дело. Но тут, оказавшись в западне между врожденной кровожадностью благовоспитанной Сесили и приятной, даже веселой пылкостью Реджинальда, он почувствовал вдруг, что его донимает и тормошит нечто иное, нежели он сам, и что

ему никак не удается определить: реальность. Реальность хорошего вкуса или ума, абсолюта или любви, которую ему никак не удается точно приложить к тому или другому из этих двух лиц, хоть и близких к нему: одному так резко освещенному, другому такому темному.

«Это театр», — сказал он себе тихо, про себя. Поскольку дошел до такой степени усталости и успеха, когда все, что говорят себе даже про себя, говорят тихо.

Он поднял руку и сделал царственный жест, в общем, надеялся, знал, что тот выглядит царственным, сопроводив его пронзительным свистом, и увидел, как вновь зажегся свет софитов. Театр вновь стал красно-черно-золотым театром. Сесили прекратила свои разглагольствования, и он покорно отвел Реджинальда к подножию сцены и велел ему подняться по ступеням. Реджинальд был загорелым и очень красивым, в немного вульгарном стиле, и, представляя их друг другу, Дик вполне ясно видел, что Сесили уже заметила его. Потом, с легким отвращением к своему произведению, к этим персонажам и театру, хотя и шумящему заранее идеями, атласом, вздохами и даже слезами, Дик нетвердым шагом направился за кулисы, преследуемый издали, как ему пока-

залось, режиссером. Он уже предвидел плоское и скучное, фрейдистское и психологическое истолкование своей пьесы. Короче, противоположное тому, чем она была, а главное, что он хотел бы увидеть на этой последней репетиции. А потому на всякий случай, поскольку инвентарь был при нем, он вошел в туалет и, перетянув руку жгутом, сделал себе в условленный час укол героина.

Через три минуты он вышел оттуда бодрячком и, приятно поколыхавшись за кулисами, вновь с превеликим удовольствием обрел этих чудесных интерпретаторов и своего лучшего оксфордского друга. Вот так, это превосходно. Это, в конце концов, даже идеально. Не надо слишком многого требовать ни от такой заезженной клячи подмостков, как Сесили Б., ни от такого молодого, дикого пса, как он.

# Небо Италии

Вечерело. Небо словно умирало между веками Майлса. Жила только белая линия над холмом, защемленная между его ресницами и черной выпуклостью склона.

Майлс вздохнул, протянул руку к столу и взял бутылку коньяка. Это был хороший французский коньяк, золотистый и теплый в горле. Остальные напитки казались Майлсу холодными, и он их избегал. Только этот… Но это был уже четвертый или пятый бокал, и его жена взбунтовалась.

— Майлс! Прошу вас. Вы же пьяны. И не способны держать ракетку. Мы приглашаем Сайместеров сыграть партию, а им придется играть одним. Вы не считаете, что уже достаточно?

Майлс не выпустил бутылку, но закрыл глаза, внезапно устав. Устав до смерти.

— Дорогая Маргарет, — начал он, — если вы допускаете…

Но остановился. Она никогда не допускала, что за эти десять лет, играя в теннис, говоря «хелло», крепко хлопая людей по спине и читая газету в своем клубе, Майлс устал.

— А вот и Сайместеры, — сказала Маргарет. — Пожалуйста, держитесь как следует. В нашем кругу…

Майлс приподнялся на локте и посмотрел на Сайместеров. Он был длинный, худой и красный, по-королевски величавый и ограниченный. Она — мускулистая, ужасающе мускулистая, решил Майлс. Маргарет становилась такой же: жизнь на свежем воздухе, улыбка до ушей, мужской смех и доброе старое товарищество. Он почувствовал отвращение и снова упал в плетеное кресло. В этом уголке Шотландии человеческого только и осталось, что мягкая линия холмов, тепло коньяка да он сам, Майлс. Остальное было — он искал слово пообиднее, — остальное было «организованным». Довольный своим словарным запасом, он бросил взгляд на жену. Потом нехотя заговорил:

— Когда я воевал во Франции и Италии…

Его голос не был нормальным. Он догадывался о взгляде Сайместера, обращенном к нему, угадывал его мысль: «Старина Майлс, бедняга, совсем сдал. Надо бы ему снова заняться поло и бросить свое мерзкое пойло». Это его разозлило, и он продолжил окрепшим голосом:

— На юге Франции и в Италии женщины в тен-

нис не играют. В некоторых кварталах Марселя они стоят на пороге дома и смотрят, как вы проходите. Когда с ними заговариваешь, отвечают, если ошибся адресом: «Проходи».

Это «проходи» прозвучало у него забавно.

— А если не ошибся, говорят: «Заходи».

Однако «заходи» он произнес совсем не смешно. Сайместер хотел было его одернуть, но сдержался. Обе женщины слегка покраснели.

— Спортом они не занимаются, — продолжил Майлс, словно обращаясь к самому себе, — и потому такие сладкие и довольно мягкие, как сентябрьские абрикосы. Клубов у них нет, но зато есть мужчины, или мужчина. Они проводят свое время на солнышке, за разговорами, и у их кожи вкус солнца, а голоса стертые. Они никогда не говорят «хелло». — И добавил меланхолично: — Правда, это словечко местное. Как бы там ни было с южными женщинами, которых я знал, мне они нравятся больше, чем чертовы местные лахудры с их гольф-клубами и эмансипацией.

И он налил себе большую порцию коньяка. Повисло оторопелое молчание. Сайместер безуспешно подыскивал какую-нибудь фразочку поостроумнее. Маргарет оскорбленно уставилась на своего мужа. Он поднял глаза:

— Никакого повода для возмущения, Маргарет, в сорок четвертом я вас не знал.

— Не будете же вы рассказывать нам о своих солдатских девках, Майлс. Надеюсь, наши друзья соблаговолят извинить вас…

Но Майлс уже не слушал. Он встал, держа бутылку в руке, и направился в глубь парка. Подальше от тенниса, голосов и лиц. Он слегка пошатывался, но это было приятно. Еще приятнее стало, когда он лег на землю, а земля начала кружиться под ним, как юла. Гигантская юла с запахом сухой травы. У земли повсюду был один и тот же сладкий запах. Майлс прикрыл наполовину глаза и вдохнул. Вдохнул в себя очень далекий и очень давний запах, запах города и омывающего город моря, запах порта.

Где же это было? В Неаполе или в Марселе? Майлс участвовал в двух операциях вместе с американцами. Разъезжал в джипе, который на безумной скорости вел негр. Как-то раз джип подскочил в невероятном прыжке, Майлса оглушил лязг железа, и он очутился на каком-то поле, среди хлебов, дыша совсем тихонько, чтобы вновь привыкнуть к жизни, не спугнуть ее. Шевелиться он не мог и лишь ощущал запах, который узнал со смесью отвращения и странного удовольствия:

запах крови. Прямо над его головой тихо колыхались хлеба, а дальше простиралось небо Италии, его бледнеющая синева. Он пошевелил рукой, поднес ее к своим глазам, чтобы закрыться от солнца. И, почувствовав под рукой свои веки, а на ресницах свою ладонь, вдруг осознал благодаря этому двойному прикосновению, что он, Майлс, тут и жив, и снова потерял сознание.

Он был нетранспортабелен. Его перенесли на ферму, которая сначала показалась ему грязной. Болели ноги, он боялся, что уже не сможет ни ходить, ни, как прежде, играть в теннис, в гольф. Беспрерывно твердил военному врачу: «Представляете, ведь я в колледже был первым по гольфу!» Майлсу было двадцать два года. Ему наложили гипс и оставили на чердаке. За чердачным окошком были поля, мирная равнина, небо. Майлс боялся.

Ухаживавшие за ним итальянцы едва-едва говорили на его языке. Майлсу понадобилась неделя, чтобы заметить, что у молодой женщины черные, необычайно черные глаза, золотистая кожа и что она чуть полновата. Ей, наверное, было лет тридцать, может, меньше, и ее муж воевал против американцев. Его забрали насильно, утверждала его старая мать и, плача, рвала на

себе волосы и раздирала носовой платок. Майлса очень смущали эти демонстрации. Он считал, что так нельзя, что «так не делается». Но, чтобы доставить старушке удовольствие, говорил, что это пустяки, что ее сын не пробудет долго в плену и что уже никто не понимает, что тут творится. Молодая женщина улыбалась, не говоря ни слова. У нее были очень белые зубы, и она не говорила ему о своей школе, как девушки, которых он знал. Она вообще мало с ним говорила, но что-то возникло тогда между ними обоими, что его волновало и смущало ее. И так тоже не должно было делаться. Все эти недомолвки и полуулыбки, эти отведенные глаза. Но ей он не говорил, будто не понимает, что тут творится.

Однажды, это был второй день после его появления на ферме, она сидела рядом с ним и вязала. Время от времени спрашивала его, не хочет ли он пить, потому что было очень жарко. Но он всегда отказывался. У него очень болели ноги, он все думал, сможет ли когда-нибудь вновь играть в теннис с Глэдис и остальными. Но согласился с некоторым нетерпением держать пряжу на своих руках, в то время как молодая женщина, опустив глаза, быстро сматывала ее в клубок. У нее были очень длинные ресницы. Майлс вско-

ре заметил это, прежде чем вернуться к своим мрачным мыслям: а что он, калека, будет делать в своем клубе?

— Grazie?[8] — сказала она просительно.

Оказывается, он опустил руки. Он сразу же снова их поднял, пробормотав какое-то извинение, и она ему улыбнулась. Майлс тоже улыбнулся ей в ответ, потом отвел глаза. Глэдис сказала бы… Но ему не удавалось думать о Глэдис. Видя, как моток на его запястьях потихоньку уменьшается, подумал смутно, что, закончив, она уже не будет сидеть вот так, наполовину склонившись к нему, в этой блузке такого яркого цвета. И невольно замедлял движение, наклонял запястья не в ту сторону. А потом и вовсе зажал конец нити в руке и не отпускал. Подумал смущенно: «Маленькая шутка, просто маленькая шутка».

Домотав свою шерсть, кроме кончика, оставшегося в руке Майлса, она подняла глаза. Майлс почувствовал, как его собственные замигали, и попытался глупо улыбнуться. Она мягко потянула за шерстяную нитку, очень мягко, чтобы не порвать, и так оказалась прямо над Майлсом, закрывшим глаза. Она медленно поцеловала

---

**[8] Примечания: 8**
Спасибо *(ит.)*.

его, не переставая вытягивать у него нить из пальцев, как у ребенка. И Майлс, охваченный блаженством, какой-то несравненной сладостью, не сопротивлялся. Когда он открыл глаза, солнце, пылавшее на красной блузке, тотчас заставило его снова зажмуриться. Молодая женщина поддерживала ему голову рукой, как итальянцы поддерживают, чтобы пить, свои *фьяски*, оплетенные соломой бутыли с кьянти.

Майлс остался один на чердаке. В первый раз он чувствовал себя счастливым и таким близким к этой солнечной стране. Лежа на боку, смотрел на хлеба и оливковые деревья в полях, ощущал на своих губах влажное прикосновение губ молодой женщины, и ему казалось, что он живет в этом краю века и века.

Теперь молодая женщина оставалась с ним весь день. Старуха больше не поднималась. Ногам Майлса стало лучше, он ел маленькие, очень пахучие козьи сыры, и Луиджа повесила над его кроватью фьяску с кьянти, так что ему стоило лишь наклонить ее, чтобы получить в горло струю терпкого темно-красного вина. Солнце заливало чердак. Он целовал Луиджу целыми днями, прижимался головой к красному корсажу, не думал ни о чем, даже о Глэдис и о клубных

друзьях.

Однажды на джипе вернулся военврач, а вместе с ним и дисциплина. Он осмотрел его ноги, снял гипс и заставил сделать несколько шагов. Сказал, что Майлс сможет уехать завтра, что пошлет за ним, и напомнил, что ему следует поблагодарить эту итальянскую семью.

Какое-то время Майлс оставался на чердаке один. Думал, что должен быть гораздо больше доволен своей поправкой, так как сможет теперь играть в теннис, в гольф, ходить на охоту с сэром Оливером и танцевать английские вальсы с Глэдис или с какой-нибудь другой девушкой. Сможет широко шагать, гуляя по Лондону и Глазго. Однако солнце на полях, пустая фьяска над головой вызывали у него нелепые сожаления. В конце концов, пора уезжать! Да и муж Луиджи скоро вернется. Впрочем, они с ней не делали ничего плохого, всего-то несколько поцелуев… Он вдруг подумал, что этой ночью, поскольку выздоровел и освободился из этих гипсовых оков, мог бы познать и кое-что еще кроме губ Луиджи и их сладости.

Она вернулась на чердак. Засмеялась, увидев, как он стоит, качаясь. Потом ее смех угас, и она вдруг посмотрела на него с беспокойством, как

ребенок. Майлс поколебался, потом утвердительно кивнул:

— Завтра я уезжаю, Луиджа.

Он повторил свою фразу раза два-три, медленно, чтобы до нее дошло. Увидел, как она отвела глаза, и почувствовал себя ужасно глупым и довольно неотесанным. Луиджа снова на него посмотрела, потом, без единого слова, сняла свою красную полотняную блузку. Ее плечи сверкнули на солнце, потом скользнули в мягкую темноту постели Майлса.

На следующий день, когда он уезжал, она заплакала. Сидя в джипе, Майлс видел, как плачет эта молодая женщина, видел за ее спиной поля и деревья, на которые так долго смотрел из своей постели. Сказал ей «bye, bye» и уже пытался вспомнить запах чердака и кьянти, оставленного на бечевке над его постелью. Майлс отчаянно смотрел на молодую темноволосую женщину и кричал ей, что никогда ее не забудет, но она не понимала.

А потом был Неаполь и женщины Неаполя. Некоторых из них звали Луиджа. И возвращение на юг Франции. Все его товарищи, обезумев от нетерпения, вернулись в Лондон первым же кораблем, но Майлс протянул еще целый месяц на солнце

между двумя границами, испанской и итальянской. К Луидже он поехать не осмеливался. Если ее муж вернулся, он мог бы понять. А если и нет, смог бы он сам, Майлс, устоять перед залитыми солнцем полями, старой фермой, поцелуями Луиджи? Смог бы он, выпускник Итона, закончить жизнь крестьянином на итальянской равнине? Майлс безостановочно шагал по берегу Средиземного моря, ложился на песок, пил коньяк.

Все это прекратилось, когда он вернулся домой. Глэдис, впрочем, вышла замуж за Джона. Майлс играл в теннис хуже, чем прежде, и ему приходилось делать многое, чтобы заменить своего отца. Маргарет была очаровательна, порядочна и воспитанна. В общем, чудесная девушка…

Майлс открыл глаза, взял бутылку и отхлебнул большой глоток прямо из горлышка. Из-за спиртного он краснел лицом и понемногу высыхал. Сегодня утром заметил, что под левым глазом лопнул маленький сосудик. Луиджа теперь, должно быть, очень растолстела и увяла. А чердак заброшен. И у кьянти уже никогда не будет того же вкуса. Ему оставалось лишь продолжать, как прежде. Контора, breakfast, политические новости в газете, что вы об этом думаете, Сидни? Контора, машина, хелло, Маргарет, и воскресенье

за городом с Сайместерами или Джонсами, пятнадцать лунок, не хотите ли содовой? Часто под этим упрямым дождем. И, слава богу, коньяк.

Бутылка была пуста. Майлс выбросил ее и с трудом встал. Ему не хотелось возвращаться к остальным. К чему была эта выходка? Так не делается! Это противно его достоинству! Он вдруг вспомнил перебранку итальянцев, оравших друг на друга через дорогу, угрожая смертью и сыпля ужасающими ругательствами, но при этом даже не имея мужества встать с обочины. Он засмеялся вслух и остановился. Почему он смеется наедине сам с собой, стоя на газоне перед своим коттеджем?

Он решил, что вернется, сядет в свое плетеное кресло и холодно скажет: «Сожалею», а Сайместер сдержанно ответит: «Ничего, старина». И больше они об этом говорить не будут. Он никому никогда не сможет рассказать о небе Италии, о поцелуях Луиджи, о сладости быть слабым, прикованным к постели в чужом доме. Война закончилась уже десять лет назад. И в общем-то, он уже не красив и не молод.

Он медленным шагом вернулся к остальным. Они тактично сделали вид, будто не заметили его отсутствия, и потихоньку втянули в свою

беседу. Майлс говорил с Сайместером о машинах и утверждал, что в плане скорости «Ягуар» непревзойден и что это в самом деле хорошая спортивная машина. В общем-то, у австралийцев есть все шансы на Кубок Дэвиса. Но втайне думал о золотистой и теплой бутылке коньяка, которая дремала в его шкафу. И улыбался скорому приходу воспоминаний — солнечных и нежных, когда Сайместеры с Маргарет уедут в город на вечернее шоу. Когда он сделает вид, будто надо поработать, когда они исчезнут на дороге, а он откроет дверцу своего шкафа, чтобы вновь обрести там Италию.

# Солнце тоже уходит спать

Толпа завопила, потом умолкла, и в благоговейной тишине Хуан Альварес выписал свою восьмую «веронику». Бык на мгновение покачнулся, ослепленный солнцем, оглушенный криками или тишиной. И леди Брайтон, сидевшая в первом ряду для официальных лиц, удостоила его краткого взгляда своих голубых глаз. «Он храбр, — подумала она, — храбр, но обессилен. Хуан быстро с ним справится». Потом обернулась к своему соседу, консулу Соединенных Штатов в Барселоне, и возобновила с ним беседу об Энди Уорхоле.

Теперь настало время умерщвления, и Хуан приближался к быку, стремился ему навстречу, подскакивал на солнце — прямой, пламенный, уверенный в себе, вышагивая на носках, словно направлялся, подумала она с насмешкой, к ее собственной постели, готовый пронзить ее — мужественный, сильный и ловкий самец. «Эль Мачо». Вдруг она представила себе свою большую кровать под балдахином в этом мадридском дворце, где имела привычку останавливаться, будто

хемингуэевская героиня, вспомнила Хуана в его раззолоченном наряде, идущего мелкими подпрыгивающими шажками к этим широченным простыням, где она ждала его, запрокинутая, отдающаяся и практически столь же беззащитная, как этот черный бык на арене. Ее разобрал смех. У мужчин и впрямь забавное представление о мужественности. На смерть у Хуана времени уходило не больше, чем на любовь. Чик — и готово. То, что толпа арен ему за это рукоплескала, — еще ладно. Но чтобы и она тоже рукоплескала — совсем другое дело, о котором не очень-то поговоришь, даже со своим соседом, консулом, хоть он вроде и весьма сведущ в отношениях мужчин — женщин. «Браво!» — крикнул консул безразличным тоном, а тем временем в ярко-синее небо взмывали возгласы «Оле!», и шляпы волновались, как соломенное море, и бык падал чугунной гирей к ногам Хуана. Матадор сделал изящный поворот, обратился к ней лицом, снял шляпу, и все встали в знак уважения к молодому человеку, который предлагал свою жизнь или, скорее всего, уже предложил ее этой молодой красивой женщине. Ей, леди Брайтон. Она тоже легко встала со своего сиденья, улыбнулась и неистовствующей арене, и этому торжествующему любовнику, и

мертвому зверю, а затем поклонилась с улыбкой, как ее научили в детстве, в Виргинии.

Едва арену очистили, как снова протрубили трубы и другое иссиня-черное ядро стало биться о дверь корраля, к великой радости толпы. Дверь открыли, и бык выскочил под гул одобрения, удовольствия и страха. Он казался опасным, и молодой человек, который двинулся ему навстречу, видимо, думал то же самое. Он шел к нему, крепко держа плащ в руке, но медленно, немного наискосок. Через какое-то время толпа глухо зароптала, словно порицая робкую отвагу либо ложную храбрость этого почти белокурого паренька, нового барселонского тореро по имени Родригес Серра.

«Его зовут Родригес Серра», — сообщил консул леди Брайтон, и та кивнула (как новости лишь наполовину интересной). Но сама при этом следила глазами за белокурым затылком, за сузившимся от страха плечом, за словно окоченевшими бедрами этого паренька, который впервые столкнулся и с милостью толпы, и с яростью и вялостью быка перед этой самой толпой. Родригес Серра топнул ногой, однако бык этого не заметил, поскольку был далековато, и легкий смех раздался с другой стороны арены. Молодой матадор сделал три

шага к быку, четыре, пять и продолжил, но то ли из-за невезения, то ли из-за плохой акустики или отсутствия ветра, или крови, но бык и ухом не повел, продолжая стоять к нему спиной. Тогда толпа рассеянно засмеялась. К быку бросились два пеона. Но бык, словно вдруг окаменев, устремил глаза к воротам, откуда явился, и казалось, что его туда влечет могучий инстинкт самосохранения. «Toro!» — крикнул белокурый паренек, и бык повернул к нему голову, смерил взглядом, потом медленно, спокойно вернулся к деревянным воротам, откуда недавно выскочил.

Это было очевидно: он преспокойно думал о холмах, о телках, о тучной траве, о дубах, о каштанах, о небесах, о чем там еще. Явно думал о чем угодно, кроме этого белокурого юноши, которому полагалось в последующие десять минут стать причиной его или собственной смерти. Молодой человек сделал к нему несколько шагов, словно от нечего делать, и толпа, удивившись такой праздности, вдруг пришла в раздражение и засвистела. Будто этот молодой человек должен был выхватить стрелы из колчана и обстрелять ими мирного зверя, который только того и ждал, либо должен был вскочить верхом на этого большого черного быка, либо, нако-

нец, будто эта самая толпа почувствовала себя разочарованной этими безопасными для себя свирепостью, кровью и безумием, за которые так дорого заплатила. Леди Брайтон машинальным жестом позаимствовала бинокль у своего соседа. Стала рассматривать с интересом удивительный в своей неподвижности профиль белокурого и, очевидно, никудышного (по мнению консула) тореро. Бык обернулся в третий раз, вперился взглядом в своего вероятного соперника, устремился к нему добродушным, почти игривым галопом, и белокурый паренек отодвинулся лишь на один шаг, как на параде, чтобы избежать восьмисот мчавшихся на него кило. Он помахал своей мулетой в десяти метрах от быка, и тот опять не шелохнулся. И толпа внезапно умолкла, словно ошеломленная. Не отвагой паренька, которой тот был обязан лишь безразличию быка (а оно в этом месте не слишком ценилось), она была ошеломлена согласием, царившим меж ними обоими, меж человеком и животным, их равнодушием, их безразличием и малым желанием убивать друг друга. Тогда вмешались пикадоры, бандерильерос и присные. Но никому не удалось нарушить молчаливый и тем не менее столь явный уговор между белокурым молодым человеком и черным

зверем. Было еще несколько взмахов мулетой (без всякого воодушевления) — яростно освистанных. Было еще несколько пауз, освистанных еще яростнее… А потом настал момент, когда под градом всякой всячины — подушечек, помидоров, цветов и бутылок, — молодой человек потребовал пощады животному, тем самым навсегда отказываясь от своей жизни тореро: опустив к земле оба больших пальца, держа свою шляпу перед собой и пристально глядя в голубые глаза леди Брайтон.

— Никогда такого не видел, — сказал распорядитель корриды консулу. — Никогда в своей жизни не видел ничего подобного! Этот сопляк — не мужчина!..

И он встал, даруя пощаду вместе со своей немилостью, довольный в конечном счете, что может в присутствии иностранцев покарать одного из своих соплеменников за недостаток мужества. Вот тогда-то по-прежнему безупречная леди Брайтон наклонилась к нему через плечо консула и сказала, улыбаясь:

— Я тоже никогда не видела такого в постели — такого мужчину, как этот Родригес. А потому запретила ему, знаете ли, валять дурака с этими животными…

И она указала подбородком на черного зверя, уходившего в полном восторге к своим пастбищам, и на белокурого молодого человека, уходившего в полном восторге к ее постели.

# Пруд одиночества

Прюданс — увы, таково было ее имя[9], которое вдобавок совсем ей не шло, — Прюданс Дельво остановила машину на лесной просеке близ Траппа и беспечно, наугад, зашагала сквозь влажный и ледяной ноябрьский ветер. Было пять часов вечера, и уже темнело. Это был грустный час, в грустном месяце, в грустной местности, но она все же насвистывала и время от времени нагибалась, чтобы подобрать каштан или рыжий лист, цвет которого ей нравился, и спрашивала себя с некоторой иронией, что тут делает и почему, возвращаясь после очаровательного уик-энда у очаровательных друзей со своим очаровательным любовником, испытала внезапную, почти неодолимую потребность остановить свой «Фиат» и пойти пешком сквозь эту щемящее-рыжую осень, почему вдруг уступила желанию быть одной и шагать.

На ней было пальто из плотной шерсти, очень элегантное, цвета листьев. На ней был шелковый шейный платок; ей было тридцать лет, и

---

**[9] Примечания: 9**
Prudence *(фр.)* — осторожность.

довольно удобные сапожки позволяли ей находить настоящее удовольствие от собственной походки. По небу с хриплым карканьем пролетел ворон, и тотчас же к нему присоединилась целая ватага друзей-воронов, словно переполнив горизонт. И странно, от этого хриплого крика, хоть и весьма знакомого, и от этого полета ее сердце забилось сильнее, словно от какого-то надуманного ужаса. Ведь Прюданс не боялась ни бродяг, ни холода, ни ветра, ни самой жизни. Ее друзья даже фыркали, произнося ее имя. Говорили, что относительно ее жизни оно чистый парадокс. Она ненавидела только то, чего не понимала, и это же, конечно, было единственным, что ее страшило: не понимать того, что с ней происходит. И тут ей пришлось внезапно остановиться, чтобы перевести дух.

Этот пейзаж напоминал ей Брейгеля, а Брейгель ей нравился. Нравилась ожидавшая ее теплая машина и музыка, которую она собиралась включить в машине. Нравилась мысль снова встретиться около восьми часов с мужчиной, который ее любит и которого она любит. С мужчиной, которого зовут Жан-Франсуа. Ей также нравилась мысль, что после ночи их любви она встанет, зевая, очень быстро выпьет кофе, кото-

рый он или она сварит для *другого*. Нравилась и мысль оказаться завтра на работе, говорить о рекламе с Марком, превосходным другом, с которым она работала больше пяти лет. Они скажут друг другу, смеясь, что лучший способ продать какой-нибудь стиральный порошок — это доказать, что он в итоге стирает серее других. Ведь в сером люди нуждаются больше, чем в белом, в тусклом — больше, чем в блестящем, в поношенном — больше, чем в износостойком.

Ей нравилось все это, в самом деле, очень нравилась ее жизнь: много друзей, много любовников, забавное ремесло, даже ребенок, и вкус к музыке, к книгам, цветам и пляшущему на поленьях огню. Но вот пролетел этот ворон со своей безумной командой, и теперь ей что-то надрывало сердце, а что именно — ей не удавалось ни определить, ни объяснить кому бы то ни было и даже (а вот это было уже серьезно) самой себе.

Вправо ответвлялась тропинка. Имелся и щит, объявлявший, обещавший: «Голландские пруды». Мысль об этих прудах в закатном солнце, с камышами, кустами утесника, а быть может, и с утками, немедленно ее соблазнила, и она ускорила шаг. Действительно, показался пруд, причем очень скоро. Серо-голубой, хоть и без уток (даже

тени их не наблюдалось), он был все же усыпан опавшими листьями, которые медленно тонули один за другим по последней спирали и все, казалось, просили помощи и защиты. У всех этих мертвых листьев был вид Офелии. Она заметила ствол дерева, наверняка оставленный не слишком добросовестным дровосеком, и села на него. Все больше и больше недоумевала, что тут делает. В конце концов она опоздает, Жан-Франсуа будет беспокоиться, Жан-Франсуа будет в бешенстве, и Жан-Франсуа будет прав. Когда счастлива, делая то, что тебе нравится — и когда нравишься другим, — незачем сидеть на поваленном стволе, в одиночестве, в холоде, на берегу пруда, о котором никогда раньше не слышала. На самом деле в ней нет ничего «невротического», как они, другие, говорили о несчастных людях (о тех, по крайней мере, кому больно жить).

Словно чтобы успокоить себя, она достала сигарету из кармана пальто, с облегчением обнаружила зажигалку «Крикет» в другом кармане и закурила. Дым был теплый и едкий, а вкус сигареты показался незнакомым. Хотя она курила одну и ту же марку десять лет.

«В самом деле, — сказала она себе, — может, мне просто нужно немного побыть одной? Может,

я никогда не остаюсь одна, уже давно? Может, это озеро обладает пагубными чарами? Может, вовсе не случай, а рок привел меня на его берега? Может, долгая череда волшебства и злого колдовства окружает Голландские пруды… Они ведь так называются…»

Она положила руку на ствол, рядом со своим бедром, и ощутила под пальцами шершавое дерево — источенное, покрывшееся патиной, наверняка из-за дождей и одиночества. (В конце концов, что может быть более одиноким и печальным, чем мертвое, срубленное, заброшенное и ни на что не годное дерево: ни костер разжечь, ни досок напилить, ни сделать скамейку для влюбленных?) Так что прикосновение к этому дереву внушило ей некую нежность, любовь, и, к своему великому изумлению, она почувствовала, как к ее глазам подступили слезы. Она рассматривала дерево, его вены, хотя их было трудно различить: серые, почти белые в этом сером и уже побелевшем дереве. «Похожи, — подумала она, — на вены стариков: не видно, как по ним течет кровь. Знаешь, что течет, но не слышишь ее и не видишь. И с этим деревом почти то же самое: тут больше нет сока. Нет сока, пульсации, возбуждения, желания *делать*, делать глупости,

делать работу, заниматься любовью, действовать, что там еще…»

Все эти мысли промелькнули в ее голове с необычайной быстротой, и при этом, смирившись, она уже не слишком хорошо понимала, кто она такая. Внезапно у нее возникло представление о себе самой, у нее, которая никогда не видела себя со стороны, даже никогда не пыталась, у нее, кого так переполняла жизнь. Она вдруг увидела себя женщиной в пальто из толстой шерсти, курящей сигарету на стволе мертвого дерева, на берегу пруда со стоячей водой. Кто-то в ней непременно хотел бежать из этого места, отыскать, вновь обрести свою машину, музыку в машине, дорогу и тысячи средств избежать смерти, тысячи уловок, которые наверняка используют опытные автомобилисты, чтобы избежать аварии, кто-то хотел вновь обрести объятия Жан-Франсуа, парижские кафе, «джин, цыган, сифоны и электричество», любезные Гийому Аполлинеру. Но был в ней и кто-то другой, кого она не знала — по крайней мере, никогда до этого с ним не встречалась — и кто хотел смотреть, как опускается ночь, как пруд устраивается на ночлег в темноте и дерево становится холодным под рукой. И быть может, а почему бы и нет… этот кто-то захотел бы — позже

— зашагать к этой воде, испытать сначала холод, а потом спрятаться туда, потеряться там и вновь обрести на дне все, подобно мертвым листьям, которые накапливались на золотисто-голубом песке в течение всего дня. И там, лежа на этих листьях в окружении глупых и ласковых рыб, этому кому-то стало бы наконец совершенно покойно, поскольку он вернулся в колыбель, вернулся к истинной жизни, то есть к смерти.

«Я схожу с ума», — подумала она, и некий голос ей прошептал: «Уверяю тебя, это истина, твоя истина» — и казалось, что это голос самого детства. А другой голос, приобретенный за тридцать лет различного счастья, этот другой голос говорил ей: «Девочка моя, надо вернуться и принять витамины B и C. Что-то в тебе неладно».

Разумеется, именно этот второй голос победил. Прюданс Дельво встала, оставила древесный ствол, пруд, листья и жизнь. Вернулась к Парижу, к своим диванам, к своим объятиям, к тому, что называют существованием. Вернулась к своей любви, которую звали Жан-Франсуа.

И включила музыку в машине, и вела очень внимательно, и даже улыбнулась этому получасу помутнения. Но ей понадобилось целых два месяца, не меньше, чтобы забыть Голландские

пруды. В любом случае она никогда не говорила о них Жан-Франсуа.